



Искатель камней

Томас Венцлова



Томас Венцлова



Искатель камней

Искатель камней



ТОМАС ВЕНЦЛОВА

Искатель камней



Новое
Литературное
Обозрение

МОСКВА 2015

УДК 821.172
ББК 84(4Лит)
В29

Венцлова, Т.

В29 Искатель камней: Избранные стихотворения / Томас Венцлова; пер. с литовского В. Гандельсмана. — М.: Новое литературное обозрение, 2015. — 160 с.

ISBN 978-5-4448-0294-6

Томас Венцлова (1937, Клайпеда) — поэт, переводчик, литературовед, публицист. В 1960 г. окончил факультет литовской филологии Вильнюсского университета. Работал в Институте истории, преподавал в Вильнюсском университете. С 1976 г. член Литовской Хельсинкской группы. В 1977 г. эмигрировал в США. С 1980 г. профессор на кафедре славянских литератур Йельского университета (Нью-Хейвен). Лауреат Национальной премии (2000). Наследие западной и русской поэзии Томас Венцлова соединил с литовской традицией, создав таким образом особый голос, обращенный к читателям во многих странах.

УДК 821.172
ББК 84(4Лит)

© Т. Венцлова, 2015

© В. Гандельсман, пер. с литовского, 2015

© ООО «Новое литературное обозрение», оформление, 2015

ИЗ СБОРНИКА
«ЗНАК РЕЧИ»
(1972)

СТИХИ О ПАМЯТИ

Ты ждешь ушедших? Но они ушли
так глубоко, что ни души, ни тени.
Их все забыло: и часы, и стены,
и вечность, и песок, и ночь, и день, и
дожди, и снег, и сосны всей земли.

Кто прав из них — не разобрать уже.
Когда разлуку множишь на разлуку,
от голосов, перечаших друг другу,
в твоей бесцельно-целостной душе —

разлад. Что остается? — зыбкий знак:
след пальца на стекле полупропащий —
так много воли, лжи, стихов и так
судьбы в наличье мало настоящей.

Два голоса оставшихся тепла
и беспокойства города коснутся.
Как и тебе, дарована была
им память. Больше не в ком ей проснуться.

Как ласточка слепая, так она,
крылатая, в тебе трепещет голо,
твой классицизм, торжественная школа, —
скажи мне, какова ему цена?

Так падает на лестницы от нас
отторгнутый и обреченный час.
Как плат. На метры, обжитые нами.
На тот пробел, что вклинился, светясь,
меж прошлым и грядущим временами.

1966

* * *

Былого ледника обломки,
и вдруг железная дорога
проваливается в потемки,
двойной рекой летя с отрога;
усилясь в резонансе, эхо
гудит среди стоящих дыбом
двух берегов, а дальше — вежа:
верста, а дальше, за изгибом

пути — убогие селенья,
сады с засохшими кустами...
Внезапное весны давление
одолевает чувства; сами
себя не узнавая, мимо
проходят улицы — граница,
где молодость неуследимо
исчезла, чтоб не возвратиться.

Вагоны, груды угля, шпалы
среди асфальтовой пустыни,
судьбы с судьбою небывалый
союз давнишний — где он ныне?
Нигде. Лишь точит стражник рая
меч светло-желтый, невесомый,
апреля царство охраняя,
снег тающий и полусонный

под солнцем... А ночами катят
машины в направлении центра,
на сквозняке свеча догорит
себя, иссякнет дым концерта.
Звучит хорал в краях надзвездных,
в соседстве с грязью, тленом, прахом
безгрешный вздрагивает воздух,
как и хотели Моцарт с Бахом.

Их приглашение к странной смерти,
их заговор... Но что осталось
от этой музыки в концерте?
От города? Какая малость!
Не пустота, не свод, который
нас затопляет, но обычный
клочок афиши, камни, скорый
след краски на стене кирпичной.

Обол за вход в страну Харона
плати, и эскалатор в эту
страну wpłyвает неуклонно,
но не в Коцит wpłyвает — в Лету,
и ночь фонарным светом белым
горит, и в памяти ли стертой,
во сне — за жизненным пределом
вновь вспыхивает тенью мертвой.

1970

* * *

Помедли, улыбнись и — в дом. Такой разлив
в округе темноты — как раз ослепнуть впору.
Но слог берет разгон и, ночь благословив
длиннейшую в году, пожалуй, даст ей фору.
Помедли, улыбнись. Равнина, нас разъяв,
озерами легла замерзшими и вьюгой.
Ни зги. Почти во сне ты слышишь, как состав
меж Двинском голосит, затерянный, и Лугой.

На кухне каплющий полуиссяк родник.
И стулья, два иль три, как редколесье в доме.
Есть телефонный диск и адрес. — Я постиг
смысл дома. Полуспишь. Я тоже в полудреме.
И только к рычагу с пластмассовой скобой
все, кажется, тянусь, от губельного риска
в верхке: ведь если я остался там с тобой,
то голос свой найду за гранью цифр и диска.

1968

* * *

В обход местам, где протекла
жизнь, где, немой кирпичный остров,
без штукатурки и стекла
приречного квартала остов
стоит, — дорога пролегла.

Там в лампах сгустки темноты.
Там сон и день царят средь комнат.
В вещах — его получерты.
Так, у зеркальной став черты,
нас отраженье полупомнит.

Так тело выловлено сном,
так весть присыпана песком,
подержанная, после шторма.
И потому его объем,
его материя и форма

меня страшат. Кто, на постой
оставшись там, судьбу в наследье
приняв, тот край от лихолетья
спасая, станет над чертой
того, что есть, и пустотой.

1965

* * *

Лицо и руки чувят острия
травы. Благословенна бедность. В розах
земля. И чернозем, и этот воздух
Воронежа — как прошлого друга.

Под сердцем больше дюжины планет, и
на ставни давят Дантовы круги,
и близок путь взыскующий, задетый
звонком, и фраза, плавясь от строки

к строке, мне обжигает мозг, как глину:
хлеб горек, поле вдавлено в долину
по самую заботу, ниткой длинной
огни столиц вселенной, как с холма...

1963

* * *

Как в облаке плывут стакан воды, замок,
дверь, кресло. Третий час. Звезда отлива скоро
отступит, отойдет, покинет мой порог,
чтобы на гостя пол, блеснув, не бросил взора.

Дым отягчит траву, между камней костра
шатнувшись, побледнев, и, отвязавшись, тронет
вдоль берега челнок, а птица так быстра
пробудет, что слова неверные обгонит.

Вернулся ли впотьмах лесничий мертвый в дом
и, спичек не найдя, по комнатам блуждает.
В небытии есть то, что выше нас, что, льдом
и музыкой зовясь, прибывшего встречает.

Поодаль хрустнет шаг, неведомый, ничей,
незримая рука соприкоснется с осью
Земли, и в тот же миг родится связь вещей,
пространство упразднив иль обесценив вовсе.

1969

* * *

Опорою бессмертных душ предмет,
за ним другой — в окне блистанье множат,
и неизвестно, что случиться может
у рек времен, которых, в общем, нет.

Увидим ли воочию, не знаем,
разлив пятнисто-рыжих вод вокруг,
когда мы соль и пепел разменяем
земные на нещедрый скарб разлук.

Уходит лето. Парус треугольный —
как бы замок на море навесной,
и волны дышат льдом, и зренью больно,
и воздух каменеет надо мной.

1969

* * *

Мы сквозь чужие свидетели слова,
разделены как будто бы стеною
прозрачной. А хозяину едва
жить оставалось месяц той зимою.

Кружится дух, как стрелка, и, кружась,
умаявшись от звукоряда ино-
бытийного, пласты сменяет в нас
родов, как повелела Мнемозина.

Не в силах нам помочь, зима назад
отходит тихо. Между городами,
надиром и зенитом, между нами
молчанье шелестит, как некий сад.

1970

* * *

За стен квадраты, за квадрат
дверей, и за квадрат
окна, и дважды два подряд
за лампу в сорок ватт,
за страны, где нас нет, за взгляд
на карту, за разлад
под крышей дома, где темнят,
за ясный воздух над,
за паровозов белый чад,
за ключ и каземат,
за нас и дважды, и стократ,
и дважды два стократ,
за то, что знают провода,
за жизнь под толщей льда,
за то, что два плюс два — не два,
и дважды два — не два.

1961

* * *

Холод сумерек встретил меня.
Выйдя в город сквозь черные арки,
я увидел вокзалы огня
и за ними ноябрьские парки.
Эта местность с кирпичной стеной,
луч стоваттный, куда-то ведущий
и сбивающий с толку, в иной
мир, в его лабиринтовы кущи.

Ариадны и Миноса дом,
для жилья, пусть на время, пригодный,
обеззвученный аэродром,
погруженный в туман беспогодный.
Но, как прежде, полны поезда —
столько воздуха, горя и шири!
Так отбывший свой срок иногда
по конвою скучает в квартире.

Я увидел родные края —
те, что мне задолжало пространство.
«Остров, памятник, улица», — я
повторял, узнавая убранство
этих мест. «Я уеду чуть свет», —
говорил, и душа, на границе
пребывая с живыми, на нет
поспешала сойти и сродниться

с тьмой. Приблизились вновь адреса,
лабиринт, Ариадна и Минос,
исчезающие голоса
я ловил, но, не в силах найти нас,
был ни в запертом доме с ковром
и картинами, мне не родными,
ни в небесных хоробах, ни в дыме
дня, ни в Дантовом круге втором.

Так смиряют ход стрелок, точней —
с бытием расстанутся не сразу,
только, я бы сказал, все длинней
расстоянье, не видное глазу,
до вчерашнего, — памяти круг,
ширься, вытянет радиус, — только,
притворившись, что сделало крюк,
станет прошлое тем, что умолкло.

Что увидишь сквозь темный покров,
в этой яви, с собой разлученной?
Не разрушил поток берегов,
окантовки Коцита мощеной.
Что ни смерть, то отдельная весть.
Ты умрешь, но не стихнет звучанье
тех, кто жив. Все, что есть, все, что есть, —
девять муз. Девять муз и молчанье.

Там, где город кружится и снег
все бредет в переулок фонарный,
где укутан в туман человек, —
есть запас, слава Богу, словарный.
Там, где друг не успеет помочь,
в этой самой печальной невстрече, —

пустотой окрыляется ночь
и вседышащим ангелом речи.

Не прощенья, не смерти прошу,
не забвенья, не правды предметной —
первозданный оставь только шум
над землей ледяной, беспросветной.

1971

ИЗ СБОРНИКА
«ЩИТ АХИЛЛЕСА»
(1976, самиздат)

* * *

Постой, постой. Во фразе пульса нет.
Границей крыш отчеркнутый восход.
Чуть молвит что-то снег — огонь в ответ.

Противовес по грунту чертит след
и замедляет маятника ход.
Постой, постой. Во фразе пульса нет.

Зеркальной пустотой не мир воспет —
в ней, отражаясь, чертеж его плывет.
Чуть молвит что-то снег — огонь в ответ.

Зэк видит, возвратясь: небесный свет
пересекает проволока вброд.
Постой, постой. Во фразе пульса нет.

Клочок пространства, время без примет
берут, обволокнув нас, в оборот.
Чуть молвит что-то снег — огонь в ответ.

Все, что уйдет в песок с течением лет, —
к лицу прижалось. Ангел не поет.
Постой, постой. Во фразе пульса нет.
Чуть молвит что-то снег — огонь в ответ.

1975

NEL MEZZO DEL CAMMIN DI NOSTRA
VITA

Памяти Константина Богатырева

Настигнут серединой века, я
небытию учился в этом мире,
смерть-родственница или смерть-семья
вселилась, потеснив меня в квартире.
Я приручал ее до темноты
и умолял не прикасаться, чтобы
в рассветный час мне брезжили черты
прекраснейшего города Европы.
Там истлевал, шурша во мгле, тростник,
и сталь мерцала, заткнута за пояс,
и камень к человеку жил впритык,
и вспыхивал бензин, и мчался поезд.
Я в окруженье смерти ел и пил,
пытаясь в ее замысел проникнуть,
я даже забывал о ней, но сил
у человека нет, чтоб к ней привыкнуть.

И сердце начинало вдруг неметь,
пока с ключом я шел по коридору,
в отечестве, где, между прочим, смерть
бывала и случайной в эту пору.

1976

ЩИТ АХИЛЛЕСА

И. Бродскому

Затем и говорю, чтоб зренья луч,
подобно твоему когда-то взгляду,
высвечивал часовни, и ограду,
и в двух вершках от пепельницы ключ.
Что здесь, что там — без разницы. Ты прав.
Повсюду недостатка нет в просторе —
воображенье это или море.
Во тьме, избрав

двоих, он к нам привержен. Зелена
равно листва по обе части света.
Есть разнобой во времени, и это
опаснее, чем горькая волна
для нас. Ты удаляешься. Простор.
Ты чужестранец в нем — мидиец? грек ли?
Мы остаемся. Нет, мы не избегли —
на наш позор —

крысиных трюмов. Кстати, и для крыс
небезопасных. Не корабль. Куда там.
Вниманье к зачастившим в гости датам,
под крышей, среди стен, где грязь и слизь,
наш возраст выдаст. Время — по пятам,
и попирает нас своей пятою.

Простор. Он ослепил бы пустотою,
когда бы там,

где льет отвесный дождь, у рубежа,
не высился торжественный свод звука,
случайно устоявший днесь, — порука
в том, что оковы — благовесть. Душа
согласна с ними. Пусть своим огнем
формуют, обжигая. Тетраферма
иль наши небеса с тобой — наверно,
лишь голос. В нем

покой и мир. Покой тебе и мне.
Да будет тьма. Секунды не считаю.
Твою любую букву прочитаю
в слоистом и густом пространстве-сне.
Противовесом смерти и судьбе
послужит белый щит как символ веры.
В нем две несовпадающие эры, —
в его резьбе —

два времени — хватило б только сил! —
как на зеркальной глади, отразятся.
Подвижные рисунки растворятся
в морской волне. Забвенья пенный пыл.
Черны квадраты окон. Сквозь стекло
сочится воздух сонный и нагретый.
Мотор автомобиля слышен где-то,
чтобы текло

в меня пространство-время. Иногда
тьму окликает колокол, и через
едва не вечность, в оклике уверяюсь,

фундамент отвечает глухо: да.
Гудят порталы. Арка оклик свой
соседке адресует. Эта смычка
как душ и континентов переключка
в ночи живой.

На снасти липнет утренняя мгла.
Прибрежный пар над пристанью сырою.
Ты, Фермопилы видевший и Трою, —
ты со щитом стоишь. Ты есть скала.
Ты есть скала. Ты со щитом в руке.
Металл и ветер. Грозное звучанье.
Хоть та скала от лжи и от молчанья
невдалеке.

Доверив наши судьбы нам, сейчас
ты жить в воспоминанье начинаешь,
но двойственно мгновение, ты знаешь,
и свет двойной утрачивает нас
в сужающемся что ни день кругу.
Светило зажигает в луже пламень.
Еще неотличим от лодки камень
на берегу.

1972

Стихотворение написано после отъезда Иосифа Бродского из Ленинграда.

Щит Ахиллеса означает лист бумаги и стихи на нем.

Терраферма — итальянское (венецианское) слово, означает «крепкую землю», «материк» (в противоположность лагуне).

* * *

За дверь шагнешь — и край земли.
Вал, закипающий вдали.
Огонь меж камнем на мели
и ветром, как пробел.
Я век назад родился здесь,
когда уже расползся весь
прибрежный мир и нижний срез
под гравием осел.

Шероховатый луч блеснет,
плиту асфальта шевельнет,
впитает хвоя кислород,
притихнув на домах,
и воссияет жар в углу,
и превратится миг в золу,
и сон, по детскому челу
скользнув, отгонит страх.

За дверью не стоят волы.
Волхвов не слышно. Ни хвалы.
Но Бог и здесь, пока светлы
края, где — мира свод
и ось одновременно — ель
благословляет колыбель,
клонясь в окне, и не истлел
последний уголь тот.

Единый воздуха объем,
в котором я иду вдвоем
с ребенком — то беру подъем,
то замираю вдруг,
прислушиваясь: кто со мной
ведет беседу в час ночной,
и нимб ли это неземной
иль просто лампы круг.

1975

* * *

Простор и угрожающая тишь,
как фотоснимок. Даль за краем крыш,
белесая, бежит чумного моря.
И стужа, от которой слово мрет,
вам обжигает легкие и рот,
в империи у запертого моря.

Из прошлого ни звука. Только луч
чернеющего солнца бьет из туч.
Здесь странствиям конец, столь непреклонны
черты отчизны, и непоправим
жестокий почерк-прочерк долгих зим,
и пестумские тонут в них колонны.

Холодный вторник. Даль. Почти зима.
Средь финских шхер то мачта, то корма
виднеются, подобны сновиденью.
Сейчас ли, в этой жизни ли, в другой
день переламывается над рекой
и оборачивается взмахом, тенью.

1974

ОДА ГОРОДУ

Не смогу, но утрачу
погашу, как фитиль,
к переулкам в придачу
эту башню и шпиль,
это море, и сушу,
и в песчинках смолу.
Если дышит, и душу
удержать не смогу.

Шаг непрочным настилом,
шаг — и осыпь. Темны
за погашенным тиром
заверенья волны.
Как во время ковчега,
над глубинами вод
ни души, ни ночлега —
Аквилон или Нот.

И над хлябью и твердью
в едкой соли огни
кристаллической смертью
проплывают. Одни
фонари да машины,
да впотьмах, где река,
сонных сосен вершины
шевельнутся слегка.

Орион не сияет,
но неведомый луч
пенный путь осеняет,
пробиваясь из туч.
Ветвь, сыра и упруга,
над оградой, как нерв,
а над нею по кругу
Аквилон или Эвр.

Я сомкну свои веки,
чтоб с изнанки твой свет
сохранился навеки.
Ты со мной или нет?
Станем тленом и тенью,
но покуда не тлен
этих парков терпенье,
тяготение стен.

Ни твердыням гранитным
здесь не быть, ни цвести
лавру — в поле магнитном
пролегают пути,
вдоль обочинной ямы,
с проливною над ней
пустотой, за холмами,
где звереет Борей.

Отраженным эфиром
вспыхнет луг в стороне.
Упокоишься с миром,
воцаришься ль во мне?
Смерть привычней и чаще.
Запивая вину,

воздух твой уходящий
напоследок глотну.

Что там? Горный отвес ли,
дождь стеною пошел?
Да хранит тебя если
не Господь, так Эол.

1974

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ О ЛЮБВИ

1.

Когда мимолетная мудрость нисходит на нас
и речи обрывки блуждают по лестничным клеткам,
в ночи, не стыдящейся сада, где слякоть и грязь,
рождается голос, дарованный арфам и флейтам.

И русло реки оживает, восстав из песка,
и камень в испарине капля воскрешая точит,
и гул оркестровый грядет, и развязка близка,
которая формы не ищет и слова не хочет.

На лбу океанская влага и соль на губах,
и город подобен киту — искривленный на суше
обломок пространства, где белый безумный замах
сближения остановили влюбленные души.

Звезды, на ресницах мерцающей, колют края,
вселенная в выпуклой линзе хрусталика блещет,
и жизнь, облетевшая ласточкой землю, твоя,
плечо отягчая, безмолвная, рядом трепещет.

Не надо идти озираясь. Мы подчинены
капризам воздушных подъемов, обвалам, расколам
небесных стихий и мелодией их учтены —
она проникает сквозь кожу и льнет к альвеолам.

И все возвращается. Эти стихи наизусть
я помню. Дома, накренившись, бессонно и немо
уходят, и руки уставшие пусть
сдвигают, как руль корабля оперенного, небо.

2.

Ждать гостей разучился. Молчат адреса.
Ямб чужой не звучит. Даже те небеса,
запрещенные, стали заботой вчерашней.
Но пространство при мне остается, когда
подступает к порогу речная вода
с отраженною в ней опрокинутой башней.

Как кольчуга, все три измеренья скрипят,
их до вечера отблески света кропят,
и в жилище пустом, вместо гостя и ямба,
то ли майская, то ли июньская мгла.
Разве жизнь коротка, если с силами зла
успевает справляться настольная лампа?

Не спеши. Наши дни еще не сочтены.
Спят младенец и чудо. И крыши черны.
Завязь лета, и заводи стынут речные.
А когда наши сны разминутся, и в них
разминутся, как лодки, два мира живых, —
мы, проснувшись, забудем невестречи ночные.

Форм двоящаяся темновзвучная рать
наши мысли теснит, и уже не понять,
сохранится ли сходство сознаний до завтра.
Но, как камни, лежат еще рядом тела,

И за окнами крепость маячит, светла,
и не все ли равно, что там видит Кассандра.

1973

* * *

Напиши стихи о разговоре с птицами.

Из письма

Бездонного колодца черный лик,
в него созвездье смотрит без испуга,
тростник, созвездье, иволга, тростник
и человек, в родстве узнав друг друга.

Один и тот же свет проходит сквозь
бесчисленные грани гулкой призмы, —
настолько ли в своем различье врозь
твой прах и серебристые софизмы

дрозда? На склоне лета, в ранний час,
когда миры крушатся и светает,
как лиру ломко-выгнутую, вас
одна и та же мощь одолевает.

1973

* * *

Вновь проясняясь, комнаты обьем
теряет второпях балласт свой, — эти
соцветия реальностей, что в нем
и вокруг тебя клубились в лунном свете.
Все проступает: скатерть, книга, хлюп
дождя, гул самолета, во вселенной —
на миг — во все окно, во весь проруб
окна — деревья в оторопи тленной.

Как с парусного судна такелаж
срываемый — листва в порыве к смерти.
Но время умирляет эту блажь,
улавливая нас в ночные сети.
С прозрачностью и темнотою лип
совпав, взгляни в окно: как неба атом —
аэродрома огненный изгиб.
Ветвей касаясь, кажется, он рядом.

Стальная птица кружит над гнездом,
приглядываясь к плоскости. В итоге
пути пространства сходятся на том. —
На плоскости. Развязка. Все дороги
стремятся в точку, все: прозренья, смерть,
родившая нас в дольний мир, в котором
есть память, норвящая гореть
над нами, как горит звезда над морем.

У сердцевины сна остановясь,
на пустоши, прижав лицо к ладоням,
с собою говоря в который раз,
услышишь эхо, там, под небосклоном
(так наполняет раковину гул),
услышишь из небесного простора:
«Я не хочу судить и не могу
помочь. Пощады нет. Ни приговора».

1971

* * *

В городках неприметных с друзьями прощаться
пора.
Лампы светом их благословляют ночным
и бесплодным.
На Аукштадварис тянется путь в окружении
плотном
сосен — хвойное небо и грубо чернеет кора.

Это Ты, и пространство Твое нас сближает, густея.
Отдаляя черту, что на финише метят стопой,
Ты сужаешь зрачок мой, но зренье расширив
до тени
от руки, до брезентовой влаги слепой.

Если отведены нам в забеге не первые роли,
да не будет нуждаться тот первый, чья жизнь
коротка,
в доле хлеба насущного, ни в удивительной доле,
в честной соли и чистой воде родника.

Да найдет меня голос, исчезнувший неуследимо, —
совершенный, он есть искупление, свобода, беда —
так вода твоя, Неман, должна быть черна и сладима,
чтоб луна на ущербе до дельты плыла безущербно,
всегда.

1967

ГЕТТО

Мы возвратимся. В тишину угла.
Все простотой исчислено угля,
разделено и взвешено. И это
конец времен.

Предательством газета
глазея, начинает стекленеть.
Донос в дверных щелях, в чернилах вязнет,
повязки метит, нет ни нас, ни вас нет,
и связи рвет, и отягчает сеть.

Ах, мысль ребенка, и непрочный дом,
и лже-гора, и мертвый водоем!

Нет смерти, и не быть Суду. Песок
и пламя хлынут — не по праву древне-
еврейскому иль римскому — на гребне
того, что назовем: последний срок.
Мы только буквы. Сноски на полях.
Мы белая бумага. Пепел. Прах.

1965

ПОВТОР С ВАРИАЦИЯМИ

Когда за тридевять земель,
забывшись, произносишь имя,
которое летит не в цель,
когда, чуть шевеля сухими

губами, чувствуя, как слог,
на склоне августа, неволясь
в удушье улиц, одинок,
ты исчезаешь, — только голос

звучит (опора звуку — ночь),
когда, минуя церковь, почту
и магазин, уходишь прочь
от них, на край вселенной, в почву

иль в поднебесье (с высоты,
глубь заместившей, видя: ясен
замес и замысел листвы:
родив птенца, озвучить осень),

когда, забыв забвенье, вскрик
парит, — материи наука
есть расстоянье, материк,
нас разделяющий, разлука.

Нет времени — и не ищи —
у голоса. Не все ль равно мне,

где ты, где я (в одной ночи,
и в августе, и, сколько помню,

в конце столетья); все равно,
целебно ли питье, отравно —
к своим корням обращено,
нам слово явится бесправно,

как смертный отблеск или след;
и озарит, присущий битве
стальных мечей, мгновенный свет
столкнувшиеся темноты две,

две жизни; спичка ли в дому
забитом, мраку потакая,
предметы осветит ему
на миг и — намертво стихая.

1971

СТИХИ О ДРУЗЬЯХ

Наталье Горбаневской

Когда чужой не чужд, когда все то,
что не случилось, к бытию готовясь,
уходит по течению вниз, в ничто —
как будто направленье у ничто есть,
и за городом гул дневной замолк,
лишь радио гремит о грозах летних, —
нам не отгородиться, на замок
закрывшись, от мгновений дня последних.

И воздух омрачается, и в дверь
исчезнувший стучит и опоздавший,
те, для кого пристанище теперь —
единственным Элизиумом ставший —
наш отчий дом, чьи призраки во сне,
в беспамятстве любви забыв друг друга,
живут: то в зазеркалье и на дне,
то — всплыв наверх с внезапностью испуга.

Так воскресают жители могил,
невиданные сестры или братья,
в созвучья превратившиеся, в пыль,
в поля травы или в поля тетради.
А тех, кто дышит, выбирает мгла,
в дороге ли, в домашних ли пустотах —

их непреклонность тихая свела,
и Аполлон, я думаю, спасет их.

Границей их вселенной станет кров,
а оттепель и стужу ночь разделит,
и даже перед смертью речь, как кровь,
им не изменит, и не перемелет
непрошеное будущее их, —
вытравливая мысль, в краях застенных
оно, шурша подошвами живых,
проело яму в каменных ступенях.

Они здесь были. Кажется, что след
их не простыл, что вещи не бесстрастны
и помнят их. Достигнув зрелых лет,
они суду земному неподвластны.
Их много. Их прямая суть проста.
Они семья, их чадо — постоянство.
Сменившая их голос пустота
по самый край заполнила пространство.

Кроме друзей, опоры нет ни в ком.
Я каждому отвел по равной доле,
лежащей между миром и зрачком,
неподлинной, увы, и скудной воли.
Исчезнут лица, словно бы в огне,
в свету, погаснут лампы, и впервые
проступит смысл, и встретятся во мне
шаги, как параллельные прямые.

Вновь осени избыточен улов.
Две-три души спасают этот город.
Среди чужих трамваев и домов

сентябрь хватает жителя за ворот.
Поодаль громоздятся баржи. Чист
пейзаж. И напряжен с утра, как нервы.
Подобно гербу рыцарскому, лист
впечатан в мостовую. Самый первый.

1968

ИЗ СБОРНИКА
«СГУЩАЮЩИЙСЯ СВЕТ»
(1990)

ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ

Болотце отдает металлом. Кров.
Чуть в стороне жует траву гнедая.
Семь женщин суетятся у столов
среди равнин и осени. Огайо
в испарине росы. Вдали вагон
ржавеет или дерево... Потемки.
Висконсин, две Дакоты, Орегон
и Орион. И вдруг у самой кромки

материка обвал Господень над
утраченным пространством, и покуда
удары сердца стынь полей дробят,
благодари Всевышнего за чудо
земли, пусть непрозрачной, но живой.
Я тоже темен ей. Но Одиссея
узнает старый пес в стране чужой
скорее, чем на родине, скорее.

Благодарю за отсветы, когда
бессонный разум ловит их, бессильный,
за то, что есть гортань и есть вода,
за будущие травы, за двужильный
над ними ветер. За нестрашный вес
надгробья на чужбине, где пророчишь
мне смерть. За тьму навек. За то, что днесь
свет из нее создашь. Если захочешь.

За музыку проугленную сфер
и день, ее вместивший всю. Предметы,
привыкшие к тому, что воздух сер
от сумерек, вернут свои приметы.
Часы вновь разойдутся по углам,
а звезды, и дверной замок, и скатерть
сетчатка обнаружит вживе там,
где их младенчество забыло насмерть.

1979

* * *

С. Т.

Научился видеть во тьме, отличать счастье от счастья,
понимать, что такое близость жизни другого,
ощущать на атом потяжелевший воздух, полдневный,
чадный,
и улавливать легчайшее изменение времени года.
Отраженье в витрине, растаявшее в мгновенье ока,
примесь голоса в листьях, дыханья следы среди веток
мне твердили, что ты возвратилась еще до того, как
друг ли, недруг, сам Бог успевал намекнуть об этом.
Ты беглянкою дельфской скрывалась, беглянкою,
Дафной
меж стволами вишен и вязов мелькала, смещала даты,
от луча заслонившись рукой, притворялась неправдой,
и, едва появившись, в ничто ускользала обратно.
Есть неравенство в этой встрече: собой обмолвись,
ни при ком ты была, но Феб — лишь тобой светился
(то, что миф угадывает и скрывают verbum и logos,
мы поймем, я думаю, когда навсегда простимся), —
а сейчас, когда бетонка до горизонта себя простерла,
и шасси от нее в миллиметровом отрыве, и шквально
завывает мотор, — как сибирскому эку вьюга,
мне выжжет горло
имя (кстати, и означающее вьюгу буквально).
Влажный, выгнутый вторит чертам твоим материк, и
непонятно, кружатся звезды или крыла коварный

крен, под коим беззвучные реки живут, и крики
ветра, и вселенная облаков над Женевой, Лондоном
или Варной.

Вертер, тот, что написан, — забыт. Все на свете
пределы —
дневниковая запись. «Люблю» перечеркнуто напрочь.
И отчизна, и Бог — вероятней и ближе, чем тело
и душа в пятнадцати милях отсюда. На ночь
глядя, хоть в небе ни угля, почти пепелище, —
человек еще видит, застыв перед эрой огня или эрой
льда. Как сказано, времени больше не будет. Две тыщи
лет, две капли, два самолета скатываются
по гемисфере.

1988

EAST ROCK

Маяка едва маячит контур.
Два громадных валуна у моря.
Островок в заливе безуспешно
вплывь сопротивляется рассвету,
удаляясь, превращаясь в лодку,
в косточку вишневую. Небесный
свет сквозь облака да всплеск радара
изредка земную ось заденут.

Здесь конец дороги, не отступишь;
за ущельем — лишь пространство; роцца
врассыпную с берега сбегает;
лист трепещет на ветру, в воздушном
кладбище; изменчивые формы;
цвет, свое цenia предназначенье,
достигает алости в просвете
между сентябрем и октябрем. Вот

месяцев водораздел! Бесстрастность
грабовых лесков, велеречивость
сойки! Мотоцикла ранний рокот
километрах в четырех отсюда.
У скалы, изогнутой, как шея
лося, вянут травы, индевет
воздух, столь прозрачный, что, пожалуй,
был бы ему в тягость соглядатай.

И сегодня явней, чем сегодня,
чувствуешь ту примесь в мирозданье,
что рождается до нашей жизни
и растет с младенческого крика,
растворяясь в крепости артерий,
зрея в лимфе, застревая в бронхах.
Чтобы ощутить ее — нет чувства,
только ужас в темном доме тела.

Сойка песню повторяет, впрочем,
незаметно изменив тональность,
но неповторимо, неизменно
то, что нам даровано однажды
было, чтобы, смерть срастив со страстью,
стать собою, стать частицей века
вечной мерзлоты, камням подобно
за Атлантикой или костям ГУЛАГА.

Что ж, возьми с собою тень и — с черным
зеркалом и пустотою речи,
выбирая что ни миг свободу, —
в путь, — нет искупления иного.
Недопитая вода в стакане,
не скрипит еще под бризом флюгер,
и автомобиль еще не знает,
в город повернуть или на север.

1985

ИНСТРУКЦИЯ

Час полета — и пограничник,
просмотрев неторопливо твой паспорт —
эту единственную карту в бесконечной игре, —
дает добро. Разумеется, все может
измениться через год или через минуту.
Впрочем, вряд ли. Порыжевшие кирпичи трущоб
времен Майерлинга. Праздник. В окнах портреты.
Ты не видел их доброе десятилетье. Лозунги, флаги.
Лучшее время в этих краях: власти за городом,
архивы закрыты, дежурному лень прикоснуться
к диску, и, вероятно, в тюрьмах
остаются два-три слишком уж преданных
службе охранника. В этот день
авиатор безнаказанно перелетает в страну, где урана
больше, чем зерновых, и куда, конечно,
ты уже не вернешься. Правда, он посмелее.
Темнота ноябрьских бульваров. За арками непременно
кто-то прячется. Все как во сне.

Мглистый холм, на который взбираться не надо.
Он здесь один. Равнина, нас разъяв,
озерами легла замерзшими и вьюгой.
Ни зги. Почти во сне ты слышишь, как состав
меж Двинском голосит, затерянный, и Лугой.

Над дверями каменные улитки; на карнизах
осьминоги и морские лилии; даже река подобна
выползшему из скорлупы моллюску.

День и ночь. День и ночь. Деревенская женщина
торгует цветами. Одной гвоздики будет довольно.
У памятника дежурят обычно те,
кто отбирает цветы. Но сегодня праздник.
У них есть тоже право на отдых. Ровно тридцать
лет назад здесь собралась толпа (тысяча? две?
для пяти не хватило бы места),
некоторые с гвоздиками.

Все остальное описано в книгах.
Чтобы читать их — ты оставил родину.
Местами попадаетесь треснувший камень,
изрытый пулями гранит, разбитый угол здания,
но после стольких лет без гида не разобраться.

О человеке на площади ты знаешь немного:
«руки скрестив на латах», «рухнут стены Иерихона»,
«дальше — дальше —». Лучшие, возможно, стихи
на свете.

Артиллерист, масон. Хромой, с опаленным лицом.
Лабиау, Остроленка, Воля, Тимишоара.
Поражений больше, чем побед.
Умер от лихорадки в Алеппо, приняв ислам.

Ни души. Положи гвоздику к его ногам,
чтобы мир пал, как звезда под собственной тяжестью.
Континент обрушивается в долину, долина во мглу
города, город в площадь, площадь в памятник.
Центр всего — гвоздика. Тяжелая, сплошь
из нейтронов.

Через два часа, когда ты пройдешь мимо,
она еще будет лежать на камне. Так, по крайней мере,
покажется.

Бесмысленный жест. Ты ждал его долго.
Ты сменил страну и друзей, но настоял на своем.
Люди, собравшиеся тогда на площади (не все
вернулись
домой), ждали больше столетья: сто восемь лет.
Что поделаешь — эти равнины учат терпению.

1987

Стихи о поездке в Будапешт в ноябрьские праздники 1986 года. Речь идет о Венгерском восстании, подавленном в 1956 году, 4 ноября. Майерлинг — место, связанное с династией Габсбургов (там покончил с собой наследник престола); времена Майерлинга — «прекрасная эпоха» до Первой мировой войны. Авиатор — Матиас Руст, приземлившийся на Красной площади в Москве. Гвоздика кладется у памятника генералу Бему, поляку, участнику Венгерской революции 1848 года; с этого памятника начались события 1956 года. Цитируются посвященные Бему стихи Норвида. Сто восемь лет: 1848—1956.

УЛИЦА ПЕСТЕЛЯ

...подлое десятилетье...

У. Х. Оден

Город затоплен июнем.
Стекло отражает лишь пыль.
В запотевший бокал
теплое каплет вино.
Воздух с поблекшим на солнце
золотом куполов.
Письменами водорослей
исчиркан узкий канал.

Что ты здесь ищешь? Стертый
текст на трухе штукатурки,
старый балкон, вчерашний
день, превратившийся в прах.
Развязанный Гордиев узел,
известка, асфальт, черепица,
сор подворотен и лестниц,
незатворенная дверь.

Здесь, где совпала когда-то
жизнь со звуком и жестом,
улица на слегка измененном
говорит языке.
Июнь белизной мерцает,
и каменеющий мозг,

слепнувший, не вмещает уже
утраченные времена.

Веком окрашены синтаксис,
архитектура, солнце
в капителях колонн,
бронзовая улыбка в нише.
Разве что голод и бедность
сопротивляются веку,
разве что остается
от юности только страх.

Чувствуй себя в нем так же,
как рыба в воде.
Он здесь прописан надолго
и — сохраннее тел.
Тихо открытые площади
дышат полуденным дымом,
известка, асфальт, черепица,
письмена на трухе.

Жизни всего-то осталось
несколько медных монет —
сдача, которую выдал
местный абсурдный банк.
Жест и мелодия тают.
От переулков проспект
отрекается. Странно,
что мы повидались раньше,

чем думали — не в долине
Иосафата, не в роще
возле Леты, ни даже

в безвоздушной вселенной,
там, где, как боги, Кельвин
царствуют и Беккерель.
Каплет вино. Над июнем
жарким плывут облака.

Звук уходит с толпою,
но ремесло неизменно —
время на строфы разменивать,
страх сколачивать в смысл.
Трепещут лишь пыль да голос,
которому знать не дано,
сколько вбирает истины
его одинокий блеск.

1988

* * *

Кремневая, отсюда в полумиле,
в скрещенье автострад, искрит гряда.
Деревья в роднике стопы омыли,
в рост не вместившись. Вдрагиванье льда.

Горчайшее — в начале. Нелюдимым
забудется земля прозрачным сном,
и даже Бог, прикинувшийся дымом,
разветится совсем. Я не о том.

Верь холодам. Благословенны сводки
зимы. Гордись, что нет пути домой.
Как беженец, на дне свернувшись лодки,
дыши соленой ясностью и тьмой.

Холмы Итаки спят уже, и дети,
обид не помня, спят, и вещество —
небесный пух — летит куда-то к смерти,
и музыка, и больше ничего.

1987

ИЗ СБОРНИКА
«ВИД ИЗ АЛЛЕИ»
(1998)

МНОГО ЛЕТ СПУСТЯ В КАРФАГЕНЕ

И. Бродскому

Вещь и время звучат вразнобой. Полоса
равноденствия. Вещь
сквозь туман не в себе. В проливном голоса
гаснут, словно бы речь
перехвачена ливнем на горле. Точь-в-точь
сталь — блестит пустота
в том ненастном просвете, где белая ночь
с черным днем разнята.

Чувства медлят в саду, где весенний замес
марта их тяготит,
где за грубой дощатой вселенной Гермес,
искалечен, стоит.
По чужой стихотворной строке, где искрясь
на исходе зимы
стынут воды, — озябшие утки на нас
наплывают из тьмы.

Полоса равноденствия. Мглист небосвод.
Мы и выжили там,
где палаты и нары для смертных темнот
отводились друзьям.
Ветер к влажной рубашке клочками прильнет.
Грамматический сор,

и обломки, и свода небесного лед —
эхом грянувший хор

совершенного времени, ибо прошло
без возврата. Таков
город неповторимый: трамваев тепло,
лязг цепей, строй мостов,
лампы карцеров вечногорящие да
над дворами пробег
облаков, где ты столько рождался, куда
не вернуться вовек.

И куда не дотянет стрела. Острова,
где учились сквозь страх
говорить «никогда»... Речь заводит трава,
рассыпается в прах
гравий — все, как Катон обещал.
Черствый воздух. Покой.
И руины, чтоб выжил и не обнищал
в них грызун хоть какой.

Я не верил, что кончится все, что дано.
Но теперь узаконь:
то, что было удачей и мукой — равно
расплавляет огонь.
Мозг уловит, отметит зрачок свет иных
обитаний и тишь,
когда в сумерках ты от болот торфяных
неба не отличишь.

И не более. Жестким плющом заросло
то окно, где, горя
в стуже марта, колотятся ветки в стекло,

дотлевают заря,
чтобы вздох, послужив послесловьем к тщете,
был дарован не нам —
белизне негатива, стиха темноте,
победившим богам.

1995

ЗАЛИВ

Когда бы небо длилось, а светило
над дельтой зацветающей грустило,
мы обошли бы тростниковым строем
и алфавита крепнущим настоем.

Привязанности рушатся. Хоть ветер
библейский и зовет вернуться в клетки
телесные, подобные тюремным,
от тех, кто «в эмиграции в подземном

краю», как молвил Меррил, нет ни вести.
Их ни в одном — ни там, ни здесь — нет месте.
Лишь, горизонт качнув, портовый катер,
как если бы плеснула складкой скатерть,

плеснет волной реки от Гераклита.
Белеют своды, раковины, плиты.
В саду зеркал увидишь их сквозь темень.
Сходя на нет, твой адрес неизменен.

1995

ВИД ИЗ АЛЛЕИ

Там, где теперь огород городят, рос крыжовник.
Синим забором двойным новосел отключил
двор от каштанов. И все измерения, кроме
времени, сжались. Пространства здесь было всегда
больше, чем детству положено. Лестницей

воображенья
можно подняться в мансарду — кузена шаги
скрипнут навстречу: «Надолго ли?» — «На ночь»
(но это

позже случится). На первом еще этаже
зеркало стынет массивное, иней вбирая
дальней грозы, крону сливы, флакон
из-под духов с чуть придушенным ароматом.
Утра бессонниц, удары часов за стеной
учат, что все не спеша, но проходит, что время
речи подвластно, что худшее с нами случись —
все-таки меньшим окажется горем, чем то, что
можем вместить. Фотографии. Как бы в раю
тьень со стаканом вишневого сока, собака.
Где-то живут еще снимки, но кто из живых
их опознает? Собака зарыта за этим
дважды забором, в углу, что не виден сейчас.
Тень, пригубившая сок, знает только поверхность
вещи, скользя по рубчатым обоям, затем
зеленью нищей, замусоренными годами —
всем, что ни ей, ни владельцам не принадлежит,
новым, реальным не более тени. Прорехе

в сетке аллей — что точнее соответствует: боль или бесчувствие? Странно, они совпадают.

1995

ПОСВЯЩАЕТСЯ ШКИПЕРИИ

Упавший небосвод амфитеатра, плавно-
скалистый полукруг речитатива, пауз —
не так ли и актер ведет свой монолог?
Здесь Эпидамн стоял, под солнцем дня расплавясь,
здесь, помнится, толпе подмигивал из Плавта
какой-то приживал. Сей бедный уголок

земли! В моих руках затертая банкнота
ценой в pese leke* — на ней под облаками реет
вершина, а внизу чернеет паровоз.
Пустые окна, грязь, афиша, рядом преет
солома, тротуар, тень бункера, зевота
осла, его хребта облезло-рыжий ворс.

Во впадине, где ветер и пламя Флегетона,
вооруженный склон удваивают воды.
Сонм европейских стран с системой планет
сравнив и поместив на карту небосвода,
увидим этот край подобием Плутона,
пусть жарким, но пустым. Там хорошо, где нет

меня. В который раз я поговорке вторю.
Одни гранаты не-, другие пере-зрелы.
Я прожил дольше трех диктаторов, а трех
еще — я наблюдал, покинув их пределы.
Но здешний, говорят, державший на запоре
все двери, стоил всех. Сей бедный край оглох.

Слегка хрустит стекло под башмаком. Таращит
гнилой циклопий глаза уродка-амбразура.
Подземные ходы средь городских руин,
чтобы потомок знал: не уцелеет шкура,
ни рая, ни воды вовеки не обрящет,
ни воздуха. Огонь. Огонь, огонь один.

Нюх нехотя идет на запахи заката,
ям выгребных и крыс, но чутче час от часа.
Созвездие шуршит в заоблачной золе.
Как мертвенно-бела во тьме листва аканта!
Как пустота гудит! Одалживая массу
у тел, она растет и зреет на земле.

На мраморе сухом гранат, и понемногу
становятся ясней ужимки прохиндея,
и сквозь табачный дым уже слышны слова:
«Где раньше был запор, там нынче ranta rhei**».
Что лучше, между тем, неведомо и Богу.
По доллару — вино. Сентенция — по два».

1995

Стихи говорят об албанском городе Дуррес, который в древности назывался Эпидамном. Здесь сохранился римский амфитеатр. В Эпидамне происходит действие известной комедии Плавта «Менехмы».

Один из ее героев, приживал Пеникулюс, появляется в первой строфе, а в последней перефразирует Гераклита и Сократа.

** Читается «пес лек», албанская денежная купюра.*

*** Все течет (греч.).*

* * *

Когда-то мы здесь оказались вдвоем... Роговица
прозрачна, душа распрямляется, чтоб распрямиться,
часы замирают, аллея вот-вот осветится

и выйдет из сада. Не видно хозяина. Пышной
листвы серебро наклоняется к почве неслышной —
ни ласточки нет, ни судьбы на примете. Всевышний.

Как шахматы ум утомляют, вселенная — зренья.
Глаз видит, что видит: стакан, виноградинок
звенья,
но взгляд просветлеет (о, лет через десять забвенья).

Крошится в прибое слюда, и вдыхает в распахе
окно занавеску льняную, дрожащую в страхе, —
останется то, что в силок свой поймал амфибрахий:

платаны над оспой асфальта и в том же размере —
любовь, то есть двигатель звезд, если следовать
вере
того, кто увидел ее таковой, — Алигьери.

1995

* * *

Р. К.

Я знаю только, что прошло, точней, проходит
столетье черное, которое, возможно,
и не черней других. Но с большим аппетитом.
Оно без устали тела нумеровало.
Оно размалывало души, чтобы разум
счел победителем себя. И в роль надежды,
я бы сказал, не без успеха, тьма вжилась.

Гордыне умыслов прислуживали печи.
Лед непроглядный залегал в соседнем круге
и стыл под каменной звездой. И, задыхаясь,
шли эшелоны в Нет, на запад и на север.
Ничто не вечно, впрочем. Идолы империй
чертополохом поросли и лопухами.
Замолкли рупоры, рассыпался гранит.

В одной из них мы родились. Теперь не смеем,
с ней расставаясь, обернуться. Как Орфей.
Чем отличились мы? Иронией, терпеньем,
не слишком — смелостью, скорей невнятным
чувством,
что меньше сделали, чем следовало сделать
(на нет сходящая вина иль грех, который —
пусть сам Господь его простит — припомнят дети).

Лишь это мы и выбирали. Но умели

как дар принять ее — простую горечь правды.
Не восхваляли смерть. Над рельсами и грудой
бетона ангелы летали. Мы любили.
В библиотеке зажигали лампу. Зло
с добром — столь схожих с виду — различали.
И там, пожалуй, будет этого довольно.

1995

ВОСКРЕСЕНИЕ ИЗ МЕРТВЫХ

Вторично нас с тобою будит дождь.
Тугие вертикальные прибои.
Под фонарем асфальта скользь и дрожь.
Движенье век и ритма перебои
роднит мгновенье с тем, что не вернешь.
Но дерево, застыв в оконной раме,
вторично, как и мы, в сознание нами
хранимое, живет, пока живешь.

Там, за морем, — в балконных ли дверях,
здесь, — с кроною отдельный лист не мирит
и, вниз его спровадив впопыхах,
зияние в крови и в небе ширит.
Силлабика, затертая в ветвях.
В небытие глядит хрусталик. Худо
стволу не быть. Но дерево, покуда
я говорю, живет в моих словах

и повторяет нашу же судьбу,
равняющую юность и изгнание,
исчезнув и вторгаясь вдруг в толпу
фасадов жалкой улицы, в сознание,
придя из сада мертвого, тропу
и дом в руинах за морем покинув.
Как мы к нему, так некто, не отринув
нас, — мысленно направит к нам стопу.

От кроны до ствола озарено,
ветвящаяся молния, едва ли
нам долго будет видеться оно.
В безмолвные и мы вступаем дали,
туда, где и ему и нам темно.
Не «ты» и «я», но сон и холод лютой,
и вечность перевешена минутой,
когда идем на каменное дно,

ладонь в ладонь, в постели, лоб ко лбу,
ступнями прижимаясь — так надгробье
среди нефа возвышается — к столбу
готическому, явь ли мы, подобье
ее, «Благодари, — скажу, — судьбу»,
ответишь: «Нам везло. Так не бывает»,
и в ожиданье Бога убывают
тела. В мотеле. В комнате. В гробу.

1995

МЕНИНЫ

Их девять или больше: камеристки,
карл, карлица, инфанта, силуэт
двойной в зеркально-зоркой темноте
и автор, начинающий картину.

Ее от нас скрывают терпеливо
четвертое столетие. Фуко
считает: пишут нас. Но живописец,
модель и зритель — дребезг одного,

возможно, первообраза. Здесь больше,
чем сквозь окно проникнуть может, света
(он, как в раю, превозмогает щедрость

несовершенства). И в скрещенье взглядов
присутствует еще один, незримый, —
его и учит кисть не исчезать.

1995

* * *

Зима. Ее септимы, квинты. Кто Голос сейчас
запишет, который ты слышал секунду назад, а?
Он мысль превосходит. Мембрана не дышит. На связь
не выйти. Вернувшись, письмо обретет Адресата.

Еще ясновидящим светом трепещет камин,
и мост, его жалкая вечность, себя продлевает,
но небытию, словно раковине, за помин
души, одиночество форму уже отливает.

На Страшном Суде, пробудившись от времени, ты
пребудешь таким. В мире большем, чем наш, тебе
гидом
щепотка ли славы послужит, глоток немоты
иль гаснувший пульс, но подвластный одним аонидам.

Сквозь груды щебенки весной пробивается смерть.
Насилие, разум презревшее, пенится в устном
и письменном пафосе. Сердце, устав тяжелеть,
срастается с дольным. И это зовется искусством.

В летейские воды два раза вступают, в тот край,
где ночь, где рука отдыхает, в значении сбыться
словам повелев (океан, мотылек, свет, прощай),
чтоб нить оставалась и было за что ухватиться.

СИЛЛАБИЧЕСКИЕ СТРОФЫ

Заезжий из дальних краев, замри на месте.
Звезда над сосновым лесом очнулась вроде,
чуть потускневшая, заспанная. Долина
запружена строем башен, в ее замесе —
ничто и разум, огонь и глина, в ее природе —
вневременность: как родник она или роза.
Шуршит под ногами гравий. Огонь и глина.
За сточной канавой вяжут улицы петли.
Заброшенный мир! Сколько дней, месяцев, лет ли
тому он запросто был обозрим с откоса.

Между набережной и полосой платформы
пространство давней вины, известняка; едкий
от нищеты неона леденеет воздух;
ржавеющий ключ в кармане — есть слепок
с формы —
каким-то чудом! — пространства, оно же — в клетке
желанья, в гуле эфира, в снах; как когда-то,
ты мог бы его пересечь — днем ли, при звездах —
вслепую, словарь человеческий взрастив из властных
его ветров, взрастив виноградник гласных
из проливного дождя и арочного алюмината.

Ты говорил лишь о нем, и радар Господень
ощупывал путаницу его крестов, оград сцепленья,
ты бы вовек не заблудился здесь (на этом,
во всяком случае, свете). Мрак подворотен,

желчь, предательство, озлобленье
бывших друзей, могилы, дверей проемы,
заколотые досками, — ты знал — ответом
и ценою будут твоему возвращенью
на Итаку. Вашему нынешнему воплощенью
повезло: вы встретились. Спады и вновь подъемы

ритма, трескаются зеркала, за ними
беспросветная область — ни отблеска, ни звучанья.
Над ручьем и временем темный лист кружится,
а еще штук двадцать, как поплавки, хранимы
своей легкой сущностью: отражение и молчанье.
Кирпичи к руке прикасаются грубо, в тесном
закутке звезда сквозь дыру крошится.
Видишь только песчаный холм невысокий,
склон волнистый, местное видишь барокко,
размышляя о смерти, о Царствии ли Небесном.

1996

МАНДАТ НЕБА

Империей правит ныне сентябрь. По аллеям парка он разбросал святыни, как гальку морскую. Жарко. Но нам трехъярусный капор святилища дарит тень, как неким богам. До края вселенной дойдя, до точки, где стихли цикады, видишь пустой, терпеливый день — ни тени на горизонте безоблачной желтизны. «Средь прочих сюжетов Северной, — он продолжает, — страны нам ближе всего, пожалуй, сюжет “Капитанской дочки”».

Звучит она в переводе как “Чудо вознагражденной любви”. Все иначе вроде: другой средой порожденный словарь, офицерские званья иные, но суть одна: пурга. Сквозь пургу разбойник бредет, под тулупом пряча секиру. Зачатый грязью, он злобен. Потом война. Ничто становится всем, и бродяги толпой идут к столице. Пожар. Смятенье. Гонг. Живность всю перебьют. И только юнца-поэта минует петля палачья.

Второе столетье длится запечатленное счастье: юнца выручает девица, повстанец разъят на части. Однако мудрые знают, что все иначе порой: сдается охрана, гаснут костры, из дворца владыка в одной сандалиии в поле уматывает (вот рои

его догоняет копий), валяется голова
министра, слуга и евнух — о, эта братва жива! —
властительным жестам учат того, кто не вяжет лыка.

Он сеет рис, бьет поклоны, как надлежит бессмертным.
Чтобы земное лоно зачало, он к милосердным
небесным взывает силам, но если бы мог — бежал
их письменных знаков, духов и страха хлебнуть
цикуты.

Со свитой лясы не точит, предпочитая — кинжал.
Обжорствует, зная: утром все выблюет, что сожрет.
Задув перед сном светильник, он кличет, раззявив рот,
богов земли (то дубины, то копыя — их атрибуты).

Его сыновьям не внове терять свою жизнь бесславно.
Шестой же по счету, крови напившись, правит
державно,
заботясь, чтобы ритмично скрипела вселенной ось.
Кочевники перебиты. Разливы рек под запретом.
Все больше дань. Юг и Север, как муж и жена,
не врозь
отныне. Обильны всходы, ничтожны ли — воин сыт.
Владыка, с младшей женою развлекаясь, острит.
Триумф. Иероглиф ложа ему помогает в этом.

Внук, отпрыск шестого сына, колдует, не спит,
склоняясь
над главкой Дао дэ-цзина, и, к размышленьям
склоняясь,
он строит планы и держит со жрецами совет:
как изменить пространство и календарь. Короче,
как отдалить мгновенье, когда тебя больше нет.
Но, увы, геоманты не помогли — о том

свидетельствуют две фразы (полуистлевший том):
 “Умру — погаснут созвездья” и “Я хочу”. Многоточье.

Длить перечень бесполезно. Последний, довольно
слабый
 отросток рода болезный, недужит: грудная жаба.
 Наследников нет, поскольку семья для него гнусней
 наложника (этот тоже ему опротивел). Сиро
 в столице, и нечисть лисья плодится вокруг и в ней.
 В сентябрьской гордыне грозной империя. Тот покой,
 когда остается только догадываться, в какой
 наш Пугачев (не так ли?) округе точит секиру.

Меняются люди, даты, из круга судьбы не выйдя.
 Лишь северный соглядатай, поэт (или наш), провидя
 не только судьбу, перстами притрагиваясь к струне
 (возвышенным слогом молвя), — противится
без корысти
 столетьям — цари, повстанцы барахтаются в волне,
 которая с желтозема их смыла, чтоб утопить, —
 он, мудрый, хотя и знает, что это пустая прыть,
 но остается верным перу. Перу или кисти».

1996

Мандат неба — древнее китайское понятие, означающее «право на власть»; геоманты — жрецы, указывающие, как располагать здания по странам света.

ЧАЙНАЯ В СЕТТЛЬМЕНТЕ. ВАРИАЦИЯ

На скамье деревянной, средь ирисов, где-то в саду —
ветви тень прикасается к тени бокала —
с мертвецами я угол веранды делю и никак не сведу
глаз с раздавшейся вширь синевы залежалой.

Разве только замусореннее еще, чем всегда.
Грязь в затонах. По десять буксиров на джонку.
Каждый знает шесток свой, да хнычет, да сетует, да
проклиная судьбу, пристрастившись от скуки
к маджонгу.

«Пакетбот задержался». «Сегодня прохладно». «Пока».
«Отвяжись». «Так вот здесь и подохнешь». Не диво,
что для них я лишь тень. Неизвестно (хоть разница
невелика),
кто играет здесь роль негатива, а кто позитива.

Кто perfectum, кто praesens, кто явь, а кто сон. Материк
так, возможно, проваливается в море.
Как спириты сидят за столом, так и здесь все впритык
и во всем сомневаются: в сущности, в этом просторе.

Не мерещатся ли им жужубы, папоротники, слово
«страх»,
слово «наверняка», или видят людьми населенную
сушу

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПЕВЦА

Даже в этой стране снег остался, как в памяти, белым.

Скрип колес на асфальте прозрачном и заледенелом.
Не погаснет зрачок, не истлеет сетчатка — и третье
на дворе приведется увидеть тысячелетье.

На порогах гарцует река, волны — встречу ее бегу,
это входит исчезнувший век в ту же реку.

Сколько раз ты менялось, растерянное пространство,
прежде чем для поблекших полотен гостиной
убранство —

все в шелку — не нашлось (здесь другие картины-
заплаты
красовались на стенах дырявых, — наперсники наши
и сваты).

Только мы и услышим вчерашние речи,
только мы и увидим коммуналки трухлявые печи.

Взгляд по стендам музейным скользнет, по костюму
театральному плюс бильярду и вычислит сумму

чьей-то жизни, не нашей, а наша, вздохнув, отлетела
в занавесках, не помнящих, так же, как я, твое тело.

Нет пути в тот пробел, к бессмысленному ландшафту,
где плакат прославлял то ракету, то шахту,

где свеча на столе, тая каплями пота, горела,
где один из двоих, как положено, больше любил.

У предела —

между кассой стеклянной и плоскостью коврика
желтой —
постоим; за стеной, в дальней комнате, в глотке
луженной

граммофона, в его гофрированной пасти —
бас хозяина, в пропасть летящий, прославленной
масти.

Тоже был эмигрант. Кубометры, когда-то
на ничто расколовшись и страсть, — только первым
богаты.

Мы в снегу, словно после пожара, замешкались.
Трубы,
кирпичи. Ни тебя, ни меня. Не мои в темноту шепчут
губы.

1996

ДЕСАНТНИК

1

Было тяжело и муторно: прятать втянутые на песок
лодки,
запихивать под кусты разрезанную на лоскуты резину,
да вдобавок — предрассветный, колющий спину
дождик.

По ту сторону дюн молчали невысокие сосны.
Наконец все двинулись. Он вздохнул. Пищевод
отягчала
память о вчерашней морской болезни,

а плечо — ремень рюкзака. Пенициллин, боеприпасы,
списанные год назад с армейского склада,
бинокль, радио и письмо старика-министра
с призывом

«Да процветает единство!». Не бывавший на этом
взморье,
он вязнул в песке, топтал хвою, равнялся на куртку
приятеля, опознавая по форме облака родную землю.

2

Стрелка компаса отплясывала привычный
клумпакоис.

Спустя пару часов они обогнули пустынный хутор,
чтобы встретить Папоротниковый Цвет, Козу
и Медведя

(басня — в действии). В просвете топтались
незнакомые люди. Командир, которого где-то,
показалось, он видел в деле, произнес пароль, и,

ободрясь, все исчезли в землянке. Отстав от группы,
он ступил на мшистую кочку, поскользнулся —
разминувшись с затылком, удар пришелся по локтю —

ощутил, хватаясь за кобуру, как мышцы припавшей
на колено ноги напряглись, увидел черное дуло
прямо перед глазами и понял, что *тот* быстрее.

3

Мозг, облепивший прибрежный вейник, давно высох
или ушел в песок, и на том спасибо —
тайная служба не выбила из него шифры.

А останься в живых — морочил бы головы своих
боссов,
став слепым игроком темных игр великодержавных,
коротал бы старость в провинциальном кафе
с чекушкой

коньяка в саднящем дыму сигарет, себе и другим
внушая,
что он спас юнцов от петли и пули. Или — иначе:
отмотал бы срок за Полярным кругом
и потом, возвратясь, жил в робких попытках добиться

реабилитационных денег в тупых конторах.
По сравнению с уцелевшими ему повезло чуть больше.

4

Лучше так, как было и есть. Раскачиваясь, едут
грузовые машины, подпрыгивая на ухабах.
Ни памяти, ни креста у дороги. Пышут жаром

шоферы, поигрывая на клавишах тормозов, поодаль
в сосняке рубят лес, белеют стены усадеб,
а кукушка нам обещает долгие жизни, вдвое,

второе или вчетверо дольше, чем у него. Погибший
не вернется. Что потеряно, то пропало.
Разве что лоскут резиновой лодки под приморской

ивой еще ожидает суда Господня, и контур
облака точно такой, как прежде, ползет над поляной,
и колышутся водоросли в ручье, до которого
не дошел он.

1997

В конце сороковых годов некоторые литовские эмигранты высаживались на берег моря около Паланги и Лиенаи, чтобы примкнуть к антисоветским партизанам. Их нередко встречали агенты ГБ, имитирующие партизан, после чего брали в плен, перевербовывали или уничтожали. Стихи рассказывают об одном таком случае с эмигрантом по имени Юстинас Дочкус.

ПАМЯТИ ХЕНКУСА ХАПЕНЧКУСА

Не стоит здороваться. Лишь тот, кого не было вовсе,
в силах вынести небытие. Нет ничего монотонней
одиночества. Моторы задыхаются, воя возле
окружного суда и каменной лестницы на склоне
косогора, возле кладбища, где ядовито желтеют
лютики и немислимых дат избегают камень

с металлом.

Что ж, мы встретились вновь под липами

на проспекте.

То, что ты есть и чем пребудешь — буквы на малом
поле гнутой таблички в витрине, что от жары дуреет,
пара слов из именного указателя пустоты, где реет
некая смутная тень, отраженная в Лете,

беглый контур, мерцающий глубоко в колодце,
там, где Ковш до звезды единственной сжался.
Мир тебя не заметил и сегодня как-нибудь обойдется.
Городу трудно забыть того, кто вообще не родился.
Чужестранней, чем Одиссей для прохожего взгляда,
или там Ной, Питер Пэн с Винни Пухом и Гамлетом

разом,

место свое не нашедший в пространстве, в котором
петляет

вслед за петляющей мостовой стареющий разум,
ты совпадаешь с чем бы то ни было. В миг до пропада
летний туман вбирает тебя, и штукатурка ограды
довоенной впитывает тень твою, которая тает.

Я, по эту сторону горькой реки, слепой к твоей речи
(как и ты — к моей), в роли третьеразрядного бога,
я пытаюсь душу вдохнуть в эти буквы во имя встречи
со страной, где царит отсутствие, тем более —
не пылит дорога,
в эти буквы, выбитые долотом жестянщика-
провинциала.

Но твой берег не поддается перу, темпера или сангине —
на одно лицо все судьбы, безлики боли,
а возмездие — в точности как другое возмездие;
на равнине
или на взгорье? много всего, или мало?
Или все-таки есть измерения там, где нет матерьяла
жизни: граммы, метры, градусы (в частности,
алкоголя)?

Буде есть там народы — пруссак на одну шестую
или поляк, вмерзший в пасмурный лед таблички,
Дантом не посещенный, на том берегу существуя,
Хенкус с любимцем Аида Хароном если и в переключке,
то фонетически слабой, а духом — совсем одиночка.
Кто он, не помню, шофер, журналист, сколько смятых
платьев и простыней, пропитанных спермой,
сколько бесцветных бокалов, в каких кабаках
распроклятых,
сколько полуголодной юности, плачей за ночкою
ночка —
все вмещается в жесть. Все только — слова. И точка.
Шьют стрижи по каунасской рванине серой.

Свет, утерявший спектр, мотив — ни единого тона,
блуждающие в разговоре, они не хотят становиться
темой.

Лишь для нас еще играет труба и огненный шар
пламенеет в окне напротив сквозь плющ
плафона
настенный.

Сквозь ветви липы проглядывает пустота квартала,
пустого вдвойне, ибо Хенкус там мочится и поливает
угол, влезает в автобус, ни тем и ни этим веком
не рожденный и не исчезнувший, он безусловную
свободу, к которой надо привыкнуть, как бы больно
ни жалило, хоть мы и хотим, чтобы наша судьба
ее жало
продолжала
ту судьбу, коей нет. Он был одним из нас. Человеком.

1997

В витрине каунасской похоронной конторы как образец надмогильного памятника много лет была выставлена металлическая табличка с невозможным в литовском и любом другом языке именем «Хенкус Хапенкус» и абсурдными датами жизни (дабы надпись не совпала ни с каким реальным лицом).

НА РОЖДЕНИЕ МЛАДЕНЦА

Судьба напоминает лишь судьбу
и смерть — лишь смерть. Пожалуй,
детский опыт
бесхитростнее. Повторяя Книгу,
ребенок созревает в колыбели,
как в яслях Вифлеемских. Он внимает
сначала свету, позже тьме. Он видит
различие между глубиной и высью
и между гранью берега и морем,
безбрежным и подобным материнству.
Он познает траву и солнце, месяц
и радугу форели, а над полем —
блуждающее воинство ворон.
Пять запинаящихся чувств приручат
колонну раскаленную каштанов,
автомобиль, крушину, снег, ольху,
домашнего в полдневной дреме волка
и волка дикого, который только образ
неясных страхов. Так придет к ребенку
то, с чем сознание срастется, — слово,
твердящее: «да будет», и тогда
сознание, себя осознавая,
вдруг заподозрит, что мы сами — тьма,
что свет — над нами.

С этого момента
он с миром породнен уже сильней,
чем с теми, кто его зачал. Он тайно

с мезонами, алмазом, Амазонкой,
с мерцанием Меркурия, рудой,
с архангелом, Бирнамским лесом грозным
и с Керинейской ланью обручен.
Предметы дышат то к нему склоняясь,
то поднимаясь до него. Уже
не рай потерянный, еще не Судный
трубою оглашенный день. — Пустырь,
где он проснется, чувствуя себя
вселенной, — он, песочные часы,
и он, песок, как говорил Джордж Херберт.
Ему мерещится, что вот порог,
где линии скрестились, он у цели.
Но Книгу Бытия прочтя чуть раньше,
лишь смертью нам откликнуться дано.

Мы старше, потому и знаем: ноты
стираются, и линии отнюдь
не бесконечны, и когда-то гаснет
звук, и страница букву не хранит.
Лишь изредка встречаемся друг с другом,
в сочувствии к вещам, в слепой надежде
и в памяти, пытающейся (тщетно,
как правило) собою заменить
бессмертие. Спасибо и на этом.
Что говорить, она дает нам силу,
когда спускаемся в долину ночи,
той, о которой лучше помолчать,
еще не зная, носится ли Бог
над водами безвидными, пустыми.

1997

ИЗ СБОРНИКА
«СТЫК»
(2005)

* * *

Вселенную удваивает грязный ручей,
дни становятся короче ночей,
в зрачке толпятся всем хором
колонны, мозг останавливают сны.
Кто правит землей — Скорпион? Весы? —
Их спор. Сбитый с толку спором,

идешь мимо крыш намокших, оград,
зеркал. Кто — кого? — Пар вдыхает сад.
Дрожь дерева возле свалки.
Царапает чертополох пустоту.
Кто мог — улетел. В холодном поту
вокзал. Как когда-то, жалки

фасады отчизны, пивные зады
и ругань. Над рельсами блеск звезды.
Империю тлен и морось.
Что ж, этим тебя наделил Господь.
Мель, мел искрошившихся стен, щепоть
соли, castrum doloris,

конверт, где не более десяти
слов, память-пробел. Как тогда, в пути
жизнь с жизнью не встретиться привыкает,
пока ты не чувствуешь, как в груди
молчанье пытается превзойти
себя, и тогда проникает

во тьму божество, или то, что мы
зовем божеством, и тогда из тьмы
доносится голос, облатка в гортани
живит и велит открывать глаза,
и все, за что отвечаешь ты — за
то, что выжил. Ты был на грани.

1998

В ПОРТУ НОВОЙ АНГЛИИ

Не море, душные скорее глыбы,
темнеющий кармин волны, о сваи
ударившись, кропит собою воздух.
В гниющих водорослях волнолома —
убежище для чайки. Наблюдатель
на стыке суши и пролива, прежде
чем в дом вернуться, ждет, когда багрянец
в разброде мачт прибрежных отмаячит.
Но дом-то где? Здесь? Там, за океаном?
Средь загородных пихт и погребов?
В немолодом и непослушном теле?
В сомнении, что жив? В том, без сомненья,
что сгинешь? В ржавом воздухе, где взгляд
находит и согласие и меру?

1998

ЗАРЕЧЬЕ

В сутолоке лип, у камней прибрежных,
где течет поток торопливый, с Тибром
схожий, с бородатými двумя «Gilbey's»
пью, стаканы, сумерки с дымом.
Их не знаю. Знал родителей только.

Что ж, сменяются поколения. Шорох
диктофона, щелканье. О, вопросы
те же, что и я задавал когда-то:
есть ли смысл в жалости или страданье
и возможно ли искусство вне нормы.

Точно был таким же, покуда странной
не был испытан судьбой, других, впрочем,
судеб не лучше. Знаю: зло пребудет,
слепоту можно отчасти развеять
и стихи значительней сновиденья.

Часто просыпаюсь перед рассветом
и без страха чувствую: близко время,
когда новое поколение вкусит слово,
соль и хлеб, увидит облако и руины
и когда мне выпадет лишь свобода.

1998

ЭМИГРАНТКА

Средь других новостей, более срочных, в трубке:
«Неужели не слышал? Давно. Очень страдала».
Не знаю, дома или в больнице. Сейчас я редко
бываю в той пустыне витрин и тоннелей.
Не знаю и времени года. Возможно, весной смерть легче:
вид почерневшего снега или вербные почки,
грязноватые, в угольной саже, — смиряют,
потому что воскреснуть становится менее, что ли,
важно.

Александр, Ксения (еще жива), Эдуард.
Рассеянное поколение.
Помню пух на щеке, картавость, большие ступни.
Яркую губную помаду. Чуть странный взгляд.
В столе квитанции, чеки, шарфик, полжизни здесь.

Три первых года проходят зря. —
Расхожее мнение. Не совсем то, что ожидалось:
холодок в редких письмах оттуда, где неизменны
стены тюрем или столбцы газет. За решеткой
окон первого этажа реклама,
грязь, на горизонте маячит острый
шпиль (как шприц) мормонского табернакля.
(Героин, а не опиум для народа, утверждал бы
нынче К.М.)

За рулем ли она, в вагоне — все равно мостовая
над головой, бетон, обломки железа, будущая могила.
Лифты, соты контор, безнадежный акцент. Только
смерть снимет
боль, не смена материков. Но сначала ее усилит.

Да и впрямь, столько времени. Под виском морщины,
косточки просвечивают сквозь запястье, особенно —
сквозь пальцы. Нет, мы не были близки в той жизни.
Серебрился бересклет, и грабовые рощи сбегали
в долину.

Ничего, кроме стихов и друзей. Впрочем, даже ссора
возле двух цементных безликих сфинксов,
у каких-то дверей. Позже, в лучшей части Бронкса,
на холсте искривленные корни как связь с природой...
И она оплатит: тело осиливает душу, путями лимфы
поспешают клетки, сохнут бронхи, медик
произносит греческое слово,
приносящее нас в жертву Броуну, щелочи и кислоте.

Облака, влажный гранит, серая гортань воды.
Никуда не текущие реки. Енот, подкравшись
к гаражу, мордочкой тычется в дверь, и белка искрится
в глазах.

Всматриваясь в едва народившийся фонарь, я почти
не думаю о темноте. Упорно, как кулачок младенца,
сердце бьет по тому, что не умеет назвать.
Ветвь, осыпанная листвой, муравьиный мир, зеркало
отражает палитру, вне рам стареют трапеции,
кисти рук, звезды, дорогие лишь для нее. Все
в прошлом.

Стыд, убожество тела, кашель, неумолимый запах,
пересохшая жажда, чтоб кончилось поскорее.
Равнодушье живых. Прости мне молчанье в трубке.

НОВАЯ ОТКРЫТКА ИЗ ГОРОДА К.

Спотыкающееся ненастье задевает Прегель.
На шаги вернувшегося из побега
(с опозданием в вечность) откликается вдрызг
разбитая мостовая. Готического письма примерка —
разве, к той вон листве. Шифр фахверка
рассыпан. Блоки, панели, визг

поезда, навалившегося на шпалы
тоннами контрабанды. Тойоты, шпаря
мимо, отравляют прорубь окна
выхлопными газами. Отдохнувшие под замком
ворота
разжимают челюсти, их зевота
может вас проглотить. Такие теперь времена.

Если некто годами взывает к отмщенью с горя,
городам убитым надоедают вскоре
жажда мести, злоба, рутинная распри, они
все прощают. Вдоль улиц звенят трамваи.
Лишь фундамент, возможно, рельсы и сваи
помнят дождящие небом осколков дни.

Даже если вселенная превращается в груды
пепла — неизменны маршруты,
номера трамваев, все мелочи до единой, хоть
и маячат на блочно-панельном жилье разводы,
сад сдается на милость асфальту, а своды

церкви молят, чтоб легкую смерть им послал
Господь.

Сквозь бетон пробивается полынный стебель.
Полуразвалины эти, полустены ль
скрывают желтое полупальто беглеца.
Рванный студёный ветер находит преграду
невзрачную: тленное тело, которое здесь взаправду,
в чуждой стране с размытыми от дождя чертами
лица.

Где мерцал лишь воздух, теперь из разрухи
торчит бездарная вертикаль. Говоря о духе,
по слову древних, он flat ubi vult, но дичь
развалин, листва, которую ночь сморила,
милей, чем замусоренная могила,
куда нам придется лечь.

Бело-серый квартал по своим же угарным тропам
пробивается в темноте к натагским топям,
Мантас — единственный, кто победил в игре,
замок сгинул, но пустота с победителем тоже
справилась. Берег Айсмареса корежа,
волна глодает глину в этой дыре.

Слово застревает в устах, не успев родиться.
Пока над геометрией, в которую город рядится,
взойдет яркий континентальный рассвет,
сон пробежит по городу вроде ветра,
где после триумфа времени и геометра
даже потери и той не осталось. Нет.
Глубокая ночь. Век, созвездья ли прогибают
крышу. В том настоящем, где погибает

имя этого края топей и тьмы,
словно в убежище, мы ожидаем утра,
не различая друг друга, не разобрав как будто,
мы, в конце концов, это или не мы.

2000

Речь идет о Калининграде (Кенигсберге). Мантас — древнепрусский повстанец XIII века, стремившийся разрушить Кенигсберг. Айсмарес — Вислинский залив.

СТЫК

К влажной поляне спускалась тропа от шоссе.
Неподалеку в овражке тускнела
провока, еще горевшая в закатном огне.
На полосатом столбе красовался герб,
рядом царапал цемент грубый стебель сурепки.

По одну сторону лежала страна
тесная и терпеливая, где уже встречали
ночь. Косуля срывала листья ольхи. А там,
за горизонтом, ты угадывал озеро, и оно отражало
в темной воде ребенка, всеми чертами
похожего на тебя. Вилась
песня над камышами, мостками, датой
на замшелом надгробии. Память
или биограф бессильны — от них ускользает
время, а без него никак
не понять того, что понять так важно,
ибо оно и тяжесть, и талисман.

По другую сторону лежал дикий
лес, только узкая просека в нем светилась,
там виднелось болото или
просто грязь и невидимые толпились
существа — ослабившиеся, мохнатые, словно их
рисовал свихнувшийся график. Совсем вдали
черные простирались луга и руины
мостов. Зябкий канал доходил до грани залива,

не найдя ни городов, ни флотилий.
Дети там, ты знал, рождаются, чтобы делиться
в подворотнях окурками, спермой, шприцем,
злостью да еще деньгами, если есть они.

А по третью сторону — дым усадьбы, гулкий
лай собаки, которая своему хозяину друг,
а гостям непрошеным — враг. Темнеет. Путь
между впадинами и курганами кружит —
непроезжие эти дороги. Стена сработана грубо,
но прикрывает огонь. Раз судьба повелела, будь
здесь, у самых дверей своей родины, будь
на глухом тройном этом стыке, где виадук
дугой рассекает пустошь
и гиблых времен скульптуры —
пограничные эти столбы — догнивают тупо.

Тронь остывающую траву детства, тронь.
Здесь твой дом. Здесь шумит в раковине ночи —
и тебе дана благодать услышать — тройное море.
Странная эра, исчезнувший часовой
и по голосу истосковавшийся воздух.

2001

*О стыке, где встречаются территории Литвы, Восточной Пруссии
(сейчас Калининградской области) и Польши.*

ANNO DOMINI 2002

Беспризорным знаком зимы и чуда — звезда в зените.
 Город спускается, как самолет, в просвет Нового года.
 Вирус глобального потепления бросает башни
 в дрожь. Плоский архипелаг сипит и кашляет.
 Ферзь из проигранной партии — статуя Свободы —

запутался в морозящих белесых нитях.
 Рубикон перейден, тому уже четверть века.
 Полуприкрыты, как веки, колючие жалюзи горизонта.
 Взгляд размывает капля, в воздухе муть вместо
 озона.

За углом, где стена в лесах и вспышки кино
 (ни человека

в зрителях), спускаешься по ступенькам в густую
 прозу
 уикенда, но — не найдя на пороге латинского Salve,
 ибо это не родина. Как шуга, качается и крошится
 под беглецом паркет. Югендстильный витраж
 скупится,
 но свою лиловую все же дарит клиентам славу

над баром. Паруса скатертей, да хрусталь, да бронза.
 Слегка одурманенный и уstraшенный в меру,
 на той самой Пятьдесят Второй, где выпивал Оден,
 сидишь с бокалом, покуда первый снег года
 метит крестиками погружающуюся в мезозой эру.

Погружение глубже, чем было. Смерд смерти
оскорбляет черный сентябрь, октябрь, ноябрь... —
не стану
продолжать. Он висит на расстоянии ста блоков
над гордыней, прахом (развевался прах, а гордыня
боком
вышла), над стальной рухлядью в ошметках
из целлофана.

Жар возвращает к началу вещей. Прежде земной
тверди —
вода, и война первичнее мира. Воды Арктики скроют
навеки
если не весь континент, то Манхэттен — точно,
но гораздо меньше бензина уйдет на радужную
оболочку,
мускулы и кожу башни и человека.

Юношу на аскетическом ложе одолевает не дума.
Славные игры снятся ему в какой-нибудь знойной
местности — падающие самолеты и пламя.
Мы его сотворили. Судьба его — перед нами.
Время платить — вот в дыму и катится по полу
звонкий

жетон метро, словно сестерций в лаву Геркуланума.

2001

Речь идет о террористическом акте 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Цитируется стихотворение Одена «1 сентября 1939».

ОТ ЛАНДВЕРКАНАЛА ДО ШПРЕЕ

Мурату Хаджу

Сладчайший мед с приправой желчи, в званье
изгнанника, я пил здесь, в назиданье
тому, кто хочет знать, *что* есть изгнанье.
Разыгрывая партию судьбы,
как шахматную, я смотрел на зону
(уподобляясь мысленно Назону),
где выстроены были гарнизону
штазистов крупноблочные гробы.

Канал, откуда выудили Розу,
уж не таит смертельную угрозу.
Во всем, Назон, узрев метаморфозу,
в себе ее не вижу как всегда.
Белеет, как белок под скорлупою,
огонь, и над посольствами толпою
поникшей флаги шлепают, как с боя.
Бой кончен. Бранденбургские Врата.

От новенького паркинга до бара
сплошь постмодерна торжествует эра.
Стерильный банк. Стерильней, чем Сахара,
сей атриум. Два рельса тянут свет.
Слепит глаза и режет, как от соли,
когда проглядывает солнце в стали.
И непоколебима Зигесзойле,
как вертикально сказанное «нет».

Мир от Стены избавился и свыкся
с отсутствием ее. Где воды Стикса?
В хоромы потребления и секса
бродя, турист, любитель старины,
разгадки не найдет. И там, где гордой
политбюро сияло многомордой,
продукцией торгует авангардной
художник и беглец из той страны,

которой больше нет. Пьянит свобода
его. Да и меня. Хоть гугенота
анахроничней я, но жив и что-то
не в тему, невпопад, но говорю.
Изведавший и жар, и холод, быта
заложник, средь базальта и гранита,
вблизи моста, что спит полузабыто,
я вижу новомодную зарю.

Нет, я не с ней. Скорее с тем фронтоном
(потопом, не иначе, принесенным),
с могучим Геркулесом и грифоном,
в отметилах воды, точней огня.
Пока трофеи, в трещинах и саже,
противятся апрельской зябкой стуже,
со мной божественная дева та же, —
Паллада берегущая меня.

Ты, вечный новичок в ее палатах, —
где смех вдогон Империям в заплатах
звучит, когда эпохи в ржавых латах
сменяются, — утратив отчий дом,
а иногда и собственное имя,
ты, — нищетою поверяя время,

в огне сгорая и огнем хранимый, —
как саламандра в пламени своем.

И это благодать определенно
единственная, здесь, где слово «огне»
господствует, останься непреклонно
живым. Сгорая в пламени, сгореть
не смей. Никто не в помощь. Ни прохожий,
ни близкий. Ты ничтожен был, но все же
и рабство, и подлейший страх под кожей,
и ложь страшили более, чем смерть.

Над деревьями ангел. Пусть неясно,
добро он или зло, — слоняясь праздно,
я опоздал на встречу, — но, согласно
приличиям, судьбе пою хвалу
и дотемна сворачиваю к мнимой
стене несуществующей, незримой,
изъяв свой лик из роскоши витринной,
отсутствием своим прильнув к стеклу.

2003

ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

ORMOND QUAY

Шеймасу Хини

Океанский пар, сгустившись в апрельском Дублине, увлажняет кирпич, смоль блестящего кузова, скаты крыш; при отливе безводное русло реки разрублено морщинами, как рука старика, протянутая куда-то.

Здесь — в стране с недавними мятежами и голодом, опустевшей в ту пору и слякотной, — нынче грузно проезжают грузовики, и, разбуженные их грохотом, мы понимаем: Лиффи вернулась в законное русло.

И вернулась с избытком. Чайка влетает в расщелину между пакгаузами. Мокрые мостовые. Дождем лепечет что-то залив, бликами лет и листьев. Так ему велено возле серой крепости. Не мы его научили речи.

Bronze by gold. Горький хлеб и крутые лестницы.
На углу в открытом притоне сирен — жест мигранта
обращен к мерцанию двойника-бармена — или
мерещится? —
и мигрант пьет за его здоровье. Хоть туда смотри,
хоть обратно —

все едино — бурые северные болота или волнистое
Ионийское море с Итакой, куда грести уже
осточертело.

Ширится карта, подобно постели Цирцеи — нечистая,
И в простыню зарывает Европа свое беспризорное
тело.

2009

В ОЖИДАНИИ ИСАВА

Его семейство перегнало стадо
через ручей и вышло на дорогу.
Пусть брат красноволосый только брата
отыщет здесь. Смеркалось. Холодела
бесплодная земля, хоть тамариском
и прикрывалась. Стихли понемногу
москиты (но в расчесах ныло тело).
Здесь только смерть: там бастион Моава,
там — горечь моря темно-синим, низким
пятном, колодцы родины, камнями
заваленные. Сон на смену яви
неумолимо шел. И тут могучий
Пришелец, сгусток тьмы чернее тучи,
ничто и все, возник перед глазами.

Всю ночь они боролись — обнимала
друг друга жизнь, — любовникам подобно,
сцепившись в схватке. И она взрывала
лощину, как в сражение леопарда
и вепря. И, когтиста и шершава,
тряслась земля. Иаков видел дробно
то дикий знак, то мяту и татарник,
а то — звезду. Вначале слабый, точно
когда-то обнимавшее Исава
в утробе матери беспомощное тельце,

он в схватке мощь обрел и понял прочно,
что справится. Светало. Утром росным
шел он, прихрамывая. Но боролся кто с ним?
Он сам? Архангел? Или тень Пришельца?

2009

ТРИ НЕПРАВИЛЬНЫХ СОНЕТА

ПЬЯЦЦА МАТТЕИ

Белесый пятнистый карниз. Облака. Гроздья винограда
оттеняют бронзовых букв когорту:

«...Caesius fecit». Удары с площади Largo, как пульс
в аорте

тирана, стихают. Преграда

между натурой и образом стерта навеки. Эфебы

машут руками из полутьмы, в разинутую пасть

дельфина

скатывается хрусталь с панциря черепахи, обрызгав

фаллос. Цветы жасмина

каменные и акант на колоннах прячутся, как Дафна

от Феба.

Piazza Paganica, via degli Funari.

Ключ скрежещет в замке, отпирая ворота Рима.

Хрящи Палатина, распадающийся зримо

форум, канувшее столетие и нечто уже подзабытое

в февральской хмари.

Только осколками букв и склеена карта

времени. Шелестит фонтан. В апрель проливается

влага марта.

КАФЕ ГРЕКО

Острия хвои ранят воздух, он в изобилии
налит смолой. Качаются зонты пиний. Горячий
песчаник. Душно.
Этот город любит повторы. Разве что террорист
малодушной
Брута — тот, что прикончил Альдо Моро в автомобиле,
разве что мутнее вода, но столь же пресна и ретива,
разве что постарели цезарей угловатые торсы,
но, как всегда, ответвляется переулок от Corso
и те же руины и фрески *simuli* — небесная их
перспектива.

Кафе. От галдежа номадов захлебывается оазис.
На дне блеклых гравюр — еще один Рим,
барочные раковины и завитки, тибуртинский
аквамарин.
Эхо на террасе лестницы длится дольше фразы.
Солнце, которое все еще видят те, кто ушел раньше
нас, играет
на плодовых деревьях и тень на стене стирает.

ВАРИАЦИЯ НА ТЕМУ ПРОБУЖДЕНИЯ

Т. М.

Чье эхо в темноте? Июньский ветер,
бродящий в приозерных огородах?
И значит, мы на дачном чердаке,
заснувшие под утро, молодые.
Глухой мотора звук? И значит, мы
в трущобе возле порта, в той стране,
где глаз держи остро, и своенравной
морской стихией так утомлены,
а не любовью. Тикает ли дряхлый
будильник старомодный, прошивая
жару? И значит, мы в Тоскане, где —
не помню точно. Помню, что проснулись.

Смешались времена, не различить
оттенков звука или мест. Остались
твоя ладонь, прильнувшая к моей,
и легкий стон, который сном навеян
и собственного голоса ясней.
Все, что сплелось, не расплести. Остались
одни мы. Дети выросли. Не счесть
друзей ушедших. Каждый день из снимков,
как из тумана, выплывают лица,
которые увидишь только в них.
И где-то в центре, в зале среди кленов,
концерта взрыв нам открывает ночь.

Трепещет штора. Шорохом листва
становится за ставнями, по стенам —
скольжение прозрачных силуэтов.
Как все это назвать — любовью или
непоправимой верностью: бездонный
испуг, когда должна ты прилететь,
но самолет опаздывает, кровь
на марлевом бинте, который тщишься
скрыть от меня, — сейчас неважно. Спать
и притвориться, что не знаем: кто-то
из нас исчезнет раньше, чем другой.
Лучше исчезнуть, чем об этом знать.

Вновь эхо. Это колокол, конечно.
Собор? Часы на башне? Все равно.
Из жажды, из размолвок и страданий
рождается вселенная двоих,
над нами реет неизвестность — с нею
и делим этот многомерный дар.
Нас виноградники стеречь с тобою
поставили, и строить дом из кедра,
и в пламени сгорать неутолимом.
Почти что день. Как повелела Книга,
пока ты спишь, я не бужу тебя.
В гул вслушиваюсь, затаив дыханье.

2009

МОХ В АММАССАЛИКЕ

Наскальный алфавит природы
бежит курсивом, прошивая
столетья. Тронешь — пыль породы
или крупица, но живая?
А поверху, скалу венчая, —
сплетье листьев иван-чая.

За скалами — помойка, где-то
бараки в зарослях осоки,
а дальше — материк, планета
бесцельная. Журчат протоки.
Во льдах — три Маттерхорна-брата.
На кирхе — иней, как заплата.

Шуга. Безмолвие. Туманы.
Ничто тебя здесь не узнает.
Кресты погоста безымянны.
Фонарь безжизнен. Ночь зияет.
Цепь айсбергов вдоль Кулусука.
Ни каравана. Порт — ни звука.

Лимб. Эхо водопадов. Мили
две-три — и льда сплошного панцырь,
но пепельного Иггдрасиля,
в гранит вцепившегося, пальцы
видны, хотя все это пена
и призрак, если откровенно.

Он без корней. Гермафродитом,
что о любви под солнцем грезит,
торчит, бесцветным спорофитом.
Ничто, он ничего не весит.
Он прячет в зыбких складках шлейфа
и Рим, и Карфаген, и Лейфа.

Гора зубчатая и топи
объяты невесомым телом,
он, как охотник, знает тропы
и властвует в оледенелом
пространстве и не умирает —
лишь пальцами в скалу вмерзает.

Весь мир в его прозрачном теле,
он примиритель, под навесом
небес он зиждется в пробеле
между тяжелой тьмой и гнейсом
и равен времени. По сути,
он всевластитель на безлюдье.

Холмы как части такелажа
небытия. Ты, безусловно,
для мха — пейзаж. Портрет пейзажа.
Немая тень проходит, словно
последний вдох и выдох шторма,
распавшись, как любая форма.

2011

Аммассалик — местность в восточной Гренландии, Кулусук — посёлок недалеко от него. Иггдрасиль — древо жизни, соединяющее миры в скандинавской мифологии. Лейф Эрикссон — викинг, которому приписывается открытие Америки.

У РАЗВАЛИН ПЕРВОГО БЕСПРОВОЛОЧНОГО ПЕРЕДАТЧИКА

1

В никуда эти улицы, жаром палит тротуар,
за шоссе, вдоль которого чахнет кустарник,
пространно
распласталась страна, принимая всем телом загар,
вплоть до западных склонов у Тихого океана.

Берега истомились под пеклом в надежде на бриз,
одурев от бензина и тухлой трески. В дальней дали,
за почтамтом, на коем начертан какой-то девиз,
мост, приманка для самоубийцы, спит своей сталью.

Терпко блещущий боинг, как лезвие, по синеве.
Ставни — наглухо. Месяц до окончания сезона.
Подложив под затылок кулак, ты лежишь на траве
и почти уже слышишь, как тают остатки озона.

2

Вроде вымытых раковин моря белеют дома.
Позлащенные цапки в витрине, чтоб ярче светилась.
Ты не здесь ли родился? Акцент выдает, и весьма.
Башня ратуши в дымке. Случилось все то, что
случилось.

Гороскоп достоверен. Судьба пилигрима — не из
самых чаемых. Чайка над грязным запущенным
парком.
Кочка солью пропитана. Ветер морской — бангпутис —
припадает к бетону, как к римским венчающим аркам.

Вот ландшафт — воздух цепи грызет, дебаркадер,
лузга —
точно в Пярвалке дюны, он сходит на нет незаметно.
Океан, может быть, и хотел бы сомкнуть берега,
чтобы локтем Кейп-Кода коснуться Европы,
но тщетно.

3

Говорить об изгнании просто смешно. Эту даль
за неделю-другую когда-то преодолевали
корабли, а теперь глобус скуксился. Впрочем, не жаль.
Только временем суток еще маркированы дали.

Там темнеет, а здесь раскалились всю небо, а
но сошлись части света в компьютерной вспышке
экрана,
и с востока на запад ночные идут голоса,
приближаясь ко мне, и трепещет тугая мембрана.

Геометрию эту не смог бы осилить Эвклид.
Связь миров — это то, что осталось от страсти
и тлена.
Лишь эфир и взволнован, и щедро в просторе разлит,
и кренятся моря, и скрипят механизмы Вселенной.

4

Погрузившись в прогретого дня травяную постель,
на развалины глядя, вбираешь настой хлорофилла.
Обойдись без экрана и скайпа. Не жди новостей.
Замолкают твои телефоны. Что было, то сплыло.

Стынет кровь. Непослушны слепые суставы, и тень
ни на шаг от тебя — все темней неразлучная пара.
От двойного отечества взморье осталось, и день
с этим временным ложем твоим, и еще этот старый

передатчик, заложник минувшего века. В игре
«проиграл — выбываешь» — твой проигрыш как
на ладони,
но пока в ночь родную и речь посылаешь сигналы —
тире
или точки, скорее — ритм сердца — как новый
Маркони.

2011

Речь идет о мысе Кейп-Код (по контуру похожем на локоть). На дюне у океана там сохранились остатки передатчика Маркони, впервые осуществившего радиосвязь с Европой (мыс — одна из ближайших к ней местностей в США).

Бангпутис («дующий на волны») — литовский языческий бог морского ветра, так называется и сам ветер.

Пярвалка — одно из приморских селений в Литве.

МАТЕРЬ ЖИВУЩИХ

Муж и жена. Без ангела. Вдвоем.
Горящая в закате панорама
высоких гор. Ущелье. Эхо в нем,
блуждающее тихо, но упрямо, —
все было даром Божиим, огнем:
и одеянье, и лицо Адама,
волчцы и терние, и днями и ночами
пространство, говорящее ручьями.

Был непокорен камень. Мучил зной.
Томила жажда. Стыли в непогоде
за плугом пальцы, и в дождях зимой
гнил хлебный злак, и горбился в работе
Адам и, в темноте идя домой,
жалел, что задержался на охоте.
Но пойманный в ловитве зверь вчерашний
был приручен и спал у ног, домашний.

Послушно лунным фазам, тело вновь
и вновь искало тело. Дар Господний!
Пусть в муках родила она сынов,
но был один другого бесподобней.
Покладист нравом младший и толков,
а все ж любимей — блудный, первородный.
Их различить по существу нетрудно —
принес на землю душегубство блудный.

Род множится. Смерть не пугает. Слов
счастливых нет, а те, что есть, — калеки.
Трещат хрящи, темно в глазах от снов —
им райские давно не снятся реки.
Едва-едва слетает с облаков
и увлажняет землю дождик редкий.
Зато пустынный ветер с юго-востока
летит, как зверь, и рвет листву жестоко.

Ей — дом и быт, кочевникам — стада,
над стойбищем, мерцающая немо,
горит, подобна атому, звезда —
обломок запрещенного Эдема,
и женщина за ней следит, одна,
поскольку Бог уже призвал Адама, —
не счесть потерь (или их нет?), — как древо
познания, дряхлеющая Ева.

В ней целая вселенная. Она —
и дева Жанна д'Арк, и Мессалина,
и та, что, безобразна и пьяна,
бросает в выгребную яму сына
новорожденного. Ей суждена —
там, в этом лоне, жизни сердцевина —
дочь, в тех краях, где зверствуют овчарки,
идущая на смерть взамен товарки.

В ней Та, перед которой смерч во прах
рассыпался (в нем корабли тонули),
во славу этой Матери в церквах
светильники пылают — это улей
тех, чье существованье — Божий страх,
порталы базилик гласят хвалу Ей,

ибо Ее дыханием все живо —
и круглый свод, и острая огива.

2011

EXTRA URBEM

Да, близится зима, и под покровом
тяжелых туч топорщатся оливки
(тут хорошо бы молвить: «друг Септимий»)
Вода не претерпела изменений
с тех давних пор, как лодки лигурийцев
сдались триремам. Разве что обрывы
упрямые чуть выгнулись, сменяя
бесполое пространство наших весей.

Скала и время. Азбука бездушной
слепой скалы и времени. Песчаник
и известняк, их невмы и ферматы.
Туннели, источившие утробу
горы, темнеют. Водопад в ущелье
болтает сам с собой, в горячке, с пеной
у рта, и в кокон мрамора, в каменоломне,
закован торс, вовеки не рожденный.

Мы здесь не различаем направлений.
Стал небосвод подобен темным склонам —
какой-то шрам кривой на горизонте.
Как Рубика рассыпавшийся кубик,
пестро на сушу выброшенный морем,
сквозь влажный воздух светится селенье —
торговлей, грязью, криком прихотливой
толпы туристов соблазненный остров.

Гордыня грубая воды разносит
по переулкам шепот Mezzogiorno.
Мы думаем, что ни кольчуги мидий,
ни склизкость хищников морских, ни эти
мурены нам не родственны. Напрасно.
В заливе плещется планктон. Септимий,
что после нас? Потоп. Планктон, который
намного старше лигурийских лодок.

Не ведаю, куда мы все исчезнем,
но ясно: нас одолевает mare.
Сюда, где сушат женщины прически,
где побережье зыбится зонтами,
где farinata — радость наших пиршеств,
когда-то вторгнутся морские звезды,
и рыба, точно зеркало иль груша,
здесь проплывет, и распадется капля

заблудшая, и соляным потоком
затопит остров — он пока в туннелях,
с ларьками и зеваками у храма,
с младенцем, видящим свой сон в коляске,
бесформенный и первый, со старухой,
неделями гостей и писем ждущей
(они все реже), а в итоге — смерти
(которая запаздывает часто).

Но мы, Септимий, мы способны выбрать.
Судьба слепа, но звук-то ясновидящ,
и не Ананке музыка послушна,
но несогласным меж собой царицам,
двум непокорным сестрам. Это Гя
с осанкой мрачной и безликой мощью,

наследством Хаоса. А та, вторая —
ветров и одиночества богиня.

Мы им обеим, властным, благодарны,
хоть та желанней, чье жилище — воздух.
Когда на нас соленые глубины
идут, а жар гнетет залива толщу,
она свой исполняет долг — подруга
цикад и чабреца, она дарует
покой в бескрайней пустоте. Вникай же
в ее глухой и неумолчный голос.

2012

ДОБАВЛЕНИЯ К КСЕНОФОНТУ

Трава в огне,
под сапогом шуршащий гравий. Штык мечети
склонится ли перед ракетой? В жарком дне
ограды глиняные и жилые клетки.
Поселок невосстановим после атаки,
не стоит даже и пытаться. Смерть и маки.

Сквозь пыли взвесь
глаза небес в упор не видят плоскогорье
с его гоплитами и всадниками, здесь,
меж Индом и Евфратом, на слепом просторе.
Пришла в солончаки не прибыль урожая —
игра на убыль, все, что есть, уничтожая.

У площади
чуть медлит юноша и пояс поправляет,
и прижимает две руки к своей груди,
и Господа благодарит, и успевает
взглянуть наверх за шаг до смерти. Крики, стоны
и трупы. Тьма. Увековечат тьму смартфоны.

Лишенный чувств
сентиментальных, как оса, жужжит охотник
до жертв, прочесывая склоны, он не чужд
азарта губительного, серый беспилотник.
Но бородач, поскольку он в укрытье рядом

с посольством, нынче разминется со снарядом.
Средь пестрых лент —
бликующих в лагуне волн — дрейфуют мины,
в водовороте тонет катер, *apparent
rari nantes*, на берегу не вспомнят сына.
Все тяжелей волна, жирней, и дышит душно,
а дно не близко, и стихия равнодушна.

И снова быт:
открылись лавки, и как будто без возврата
в международной зоне день войны забыт,
бордель занюханый приветствует солдата,
вблизи погост в воронках, кости в поле зренья —
вперед обещанного вышло воскрешенье.

Что ж, ТНТ
куда мощней трубы архангела, нет спора,
возмездие сильней вины (вина? но где?
она, историк говорит, подобье вздора).
Еще Югурта знал, как потчевать лекарством,
в котором смешано насилие с лукавством.

Средь мирных дел,
в своем краю, в его тишайшей сердцевине,
припав к экрану, постигаешь: вот предел —
те, у кого есть тело, гибнут, а в пустыне
оно — пустяк, соринка, матерьял распада.
Как горизонт, цель отдаляется от взгляда.

Вновь гравий, вновь
в нем вязнут армии, идут-бредут народы,
тракт в мутной пелене глотает пыль и кровь.
Что впереди? Тупик. Под шапкой небосвода

кишлак со злобою в кишках, тростинка мака,
ущербная луна и крошки зодиака.

2012

Apparent rari nantes — виднеются редкие пловцы (цитата
из Энеиды).

TNT — тринитротолуол, взрывчатое вещество.

ЦИКЛОН

Зеленоватое мерцанье на экране.
Спираль дрожит, вращаясь. «Нынче это
обыденность». Дня через два рванет.

Качнется небоскреб, как борт, в небесной выси,
всплывут в затопленной подземке трупы крыс,
сигналка включится — застонет на парковке
авто и стихнет, точно раненый. На всех
не хватит раскладушек в терминалах.

Жизнь чья-то пресечется. Чья — бог весть.

Семья, пока открыты магазины
в прибрежном пригороде, пополняет
запасы кукурузных хлопьев. Муж хотел
уехать, но супруга ни в какую.
Где безопаснее — на чердаке? в подвале? Этот
дубок того гляди на крышу рухнет.
Сей спор не для ребяческих ушей.
А впрочем, дети носятся с собакой,
читают «Спайдермена» и не слышат
родителей; сегодня школа, к счастью,
закрыта; темнота для прятков — благо;
их на ночь спальники еще не приютили,
и можно напугать в два счета взрослых,
вдруг выскочив с фонариком на них.

И впрямь — им все до лампочки,
даже при этих спорах (дернуть
через границы или здесь остаться,
ибо нигде не ждут их, а сыр-бор,
быть может, кончится?)

Но споры припозднились —
стучатся стройные ребята в дверь,
(знак молнии на их мундирах), цепью
идут бойцы, усадьбу окружая,
карают коллаборационистов
старатели свободы, и толпа с мачете
стоит вплотную.

Человек, конечно,
один в природе так умен, что в силах
природу упорядочить. Лишь он
собратьев сортирует по сословью,
по форме черепа и по акценту, отделяя
зерна от плевел.

Светлый день. Цветет пион.
Воркует иволга. Погода шепчет
тому, кто победил.

В итоге улыбается и нам.

Мерцанье
экрана уплывает к северу. На тротуаре
скелет убитой телефонной будки,
торчит один фонарь над променадом.
Но уж земля под паром. Пес
бежит за малышней. Дубок воспрял.
Оставшись при своих, мир снова в форме.

* * *

Покой казалось после стольких бед,
благоволит нам. Нет, был краток роздых,
когда мы пировали и чуть свет
вдыхали стихотворства чистый воздух.

Звук флейты под аркадами в садах,
везде — дух мудрости, и отдаленный
шум ярмарок на ранних площадях,
и ароматных специй галеоны.

Цвета мозаик радовали глаз,
созревший плод манил, но те пророки-
безумцы, над которыми не раз
мы насмехались, протрубили сроки.

Набухли небеса, и отчий кров
настороже, и в страхе домочадцы.
Задуй свечу, а двери — на засов.
Калигула с чумой в твой дом стучатся.

2014

СОДЕРЖАНИЕ

ИЗ СБОРНИКА «ЗНАК РЕЧИ» (1972).....	5
Стихи о памяти.....	7
Былого ледника обломки	9
Помедли, улыбнись и — в дом. Такой разлив.....	11
В обход местам, где протекла... ..	12
Лицо и руки чуют острия... ..	13
Как в облаке плывут стакан воды, замок.....	14
Опорою бессмертных душ предмет.....	15
Мы сквозь чужие свидетели слова... ..	16
За стен квадраты, за квадрат... ..	17
Холод сумерек встретил меня... ..	18
ИЗ СБОРНИКА «ЩИТ АХИЛЛЕСА» (1976, самиздат)	21
Постой, постой. Во фразе пульса нет.....	23
Тяготенья вселенной берет в сентябре нас в полон.....	24
Nel mezzo del cammin di nostra vita	25
Щит Ахиллеса	26
За дверь шагнешь — и край земли... ..	29
Простор и угрожающая тишь.....	31
Ода городу.....	32
Два стихотворения о любви.....	35
Бездонного колодца черный лик... ..	38
Вновь проясняясь, комнаты объем... ..	39
В городках неприметных с друзьями прощаться... ..	41
Гетто.....	42

Повтор с вариациями.....	43
Стихи о друзьях.....	45
ИЗ СБОРНИКА «СГУЩАЮЩИЙСЯ СВЕТ» (1990).....	49
День благодарения.....	51
EAST ROCK.....	55
Инструкция.....	57
Улица Пестеля.....	60
Кремнёвая, отсюда в полумиле,.....	63
ИЗ СБОРНИКА «ВИД ИЗ АЛЛЕИ» (1998).....	65
Много лет спустя в Карфагене.....	67
Залив.....	70
Вид из аллеи.....	71
Посвящается Шкиперии.....	73
Когда-то мы здесь оказались вдвоём... Роговица.....	75
Я знаю только, что прошло, точнее проходит.....	76
Воскресение из мертвых.....	78
Менины.....	80
Зима. Ее септимы, квинты. Кто Голос сейчас.....	81
Силлабические строфы.....	82
Мандат неба.....	84
Чайная в Сеттльменте. Вариация.....	87
Возвращение певца.....	89
Десантник.....	91
Памяти Хенкуса Хапенкуса.....	94
На рождение младенца.....	97

ИЗ СБОРНИКА «СТЫК» (2005)	99
Вселенную удваивает грязный ручей.....	101
В порту Новой Англии	103
Заречье.....	104
Эмигрантка	105
Новая открытка из города К.	107
Стык.....	110
Anno domini 2002	112
От Ландверканала до Шпрее.....	114
ИЗ НОВЫХ СТИХОВ	117
ORMOND QUAY	119
В ожидании Исава	121
Три неправильных сонета.....	123
Пьяцца Маттеи	123
Кафе Греко.....	124
Авентин	125
Вариация на тему пробуждения.....	126
Мох в Аммассалике	128
У развалин первого беспроводного передатчика.....	130
Мать живущих	133
EXTRA URBEM	136
Добавления к Ксенофону.....	139
Циклон.....	142
Покой, казалось, после стольких бед... ..	144

Томас Венцлова
ИСКАТЕЛЬ КАМНЕЙ
Избранные стихотворения

Дизайнер *В. Новик*
Редактор *Н. Зиновьева*
Корректор *Е. Мохова*
Верстка *Л. Ланцова*

Налоговая льгота — общероссийский
классификатор продукции ОК-005-93, том 2;
953000 — книги, брошюры

ООО Редакция журнала
«Новое литературное обозрение»
Адрес редакции:
123104, Москва
Тверской бульвар, 13, стр. 1
Тел./факс: (495)229-91-03
e-mail: real@nlo.magazine.ru
Интернет: <http://www.nlobooks.ru>

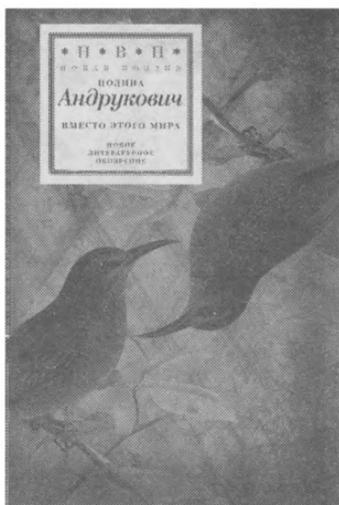
Формат 84 × 108 ¹/₃₂. Бумага офсетная № 1.
Офсетная печать. Печ. л. 5. Тираж 1000. Зак. № 374.
Отпечатано в типографии «Миттель Пресс»
127254, г. Москва, ул. Руставели, д. 14, стр. 6.

Издательство
«Новое литературное обозрение»

Серия «Новая поэзия»

2014

Полина Андрукович
ВМЕСТО ЭТОГО МИРА



Поэтический слух Полины Андрукович обращен к микрособытиям, к под-кожной жизни языка. Это тончайший сейсмограф, улавливающий в оговорках, запинках, разломах слова препинание речи с самой собой. На письме это приводит к новаторской знаковой системе, регистрирующей малейшие сбои и интонационные сдвиги, когда внутренняя речь, словно бы разбиваясь о внешний предел, ранит себя и белое пространство страницы, на краткий миг позволяя прикоснуться к плоти вещей.

Полина Андрукович (р. 1969) — поэт, прозаик, художник. Окончила ВГИК. Участвовала в коллективных выставках, провела три персональных выставки в Москве. Автор книг стихов «Меньше на один голос» (2004), «Репетиция верлибра» (2008), «В море одна волна» (под псевдонимом Лина Иванова, 2009). Публиковалась в антологии «Очень короткие тексты», журналах «Воздух», «Новый берег», «АКТ», альманахах «Вавилон», «Авторник» и др. Живет в Москве.

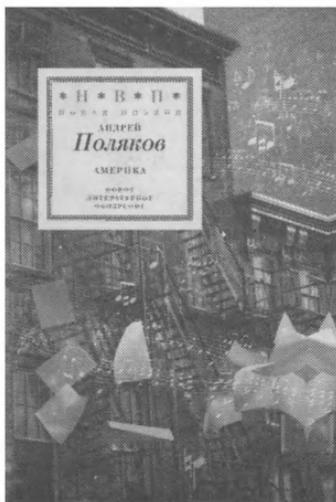
Издательство
«Новое литературное обозрение»

Серия «Новая поэзия»

2014

Андрей Поляков
АМЕРИКА

Андрей Поляков родился в 1968 году, живет в Симферополе. Окончил филологический факультет Симферопольского университета, работал журналистом, редактором, учителем. Публикует стихи с 1992 года (газета «Гуманитарный фонд»), печатался в журналах и альманахах «Вавилон», «Митин журнал», «Знамя», «Воздух» и др. Автор книг «Epistulae ex Ponto» (1995), «Орфографический минимум» (2001), «Для тех, кто спит» (2003), «Китайский десант» (2010), «Письмо» (2013). Лауреат ряда литературных премий, в том числе Премии-стипендии Фонда Иосифа Бродского (2007) и Премии Андрея Белого (2011).



Издательство
«Новое литературное обозрение»

Серия «Новая поэзия»

2014

Павел Жагун
ТЫСЯЧА ПАЛЬТО



Поэзия Павла Жагуна принципиальна немиметична и восходит к технике дадаистского коллажа, автоматическому письму сюрреалистов и экспериментам в электронной музыке. В новой книге, название которой иронически отсылает к знаменитому трактату Делёза/Гваттари, Жагун развивает сериальный, алеаторический метод, призванный обнажить поэтическую машинерию. Стихи здесь отказываются от привычной композиции и последовательной развертки, представая, благодаря микшированию и глитчу (ошибке, сбою программы), своего рода парасемантической ризомой, разрастающейся между читателем и текстом. Ибо только так, по мнению автора, и может явить себя современность — этот множющийся непрерывный поток разъятых смыслов.

Павел Жагун (р. 1954) — поэт, композитор, художник. Автор поэтических книг «Радиолярия» (2007), «IN4» (2008), «Алая буква скорости» (2009), «Carte Blanche» (2010), а также текста-трансформера «Пыль Калиостро» (шорт-лист Премии Андрея Белого, 2009).

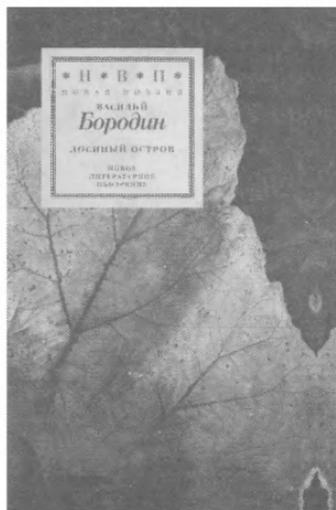
Издательство
«Новое литературное обозрение»

Серия «Новая поэзия»

2015

Василий Бородин
ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ

Василий Бородин (р. 1982) — поэт, художник. Окончил Московский государственный вечерний металлургический институт. Работает редактором, иллюстрирует стихи и прозу. Автор книг стихов «Луч. Парус» (2008), «P.S. Москва — город-жираф» (2011), «Цирк “Ветер”» (2012) (шорт-лист Премии Андрея Белого и премии «Различие»), «Дождь-письмо» (2013). Участник фестиваля «Поэтроника» (2008, 2010). Живет в Москве.



Издательство
«Новое литературное обозрение»

Серия «Новая поэзия»

2015

Александр Беляков
РОТАЦИЯ СЕКРЕТНЫХ ЭКСПЕДИЦИЙ



Александр Беляков родился в 1962 году. Окончил математический факультет Ярославского университета (1984), работал программистом, журналистом, редактором на радио и телевидении. Начал печататься в 1988 году, в 1992 году выпустил первую книгу стихов «Ковчег неуют». Далее последовали сборники «Зимовье» (1995), «Эра аэра» (1998), «Книга стихотворений» (2001), «Бесследные марши» (2006) и «Углекислые сны» (2010), публикации в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Воздух», на сайте «Новая Камера хранения». Публиковал также переводы поэзии (А.Э. Хаусмен, Аллен Тейт и др.). В 2012 году удостоен премии-стипендии Фонда памяти Иосифа Бродского.

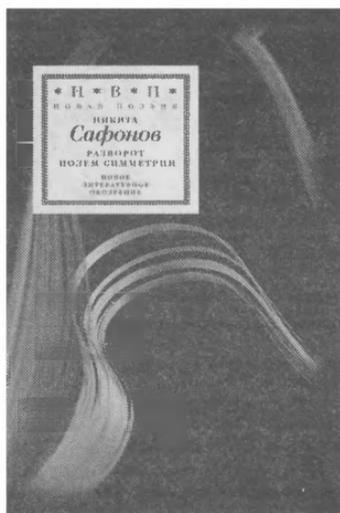
Издательство
«Новое литературное обозрение»

Серия «Новая поэзия»

2015

Никита Сафонов
РАЗВОРОТ ПОЛЕМ СИММЕТРИИ

Никита Сафонов (р. 1989) — поэт, критик. Родился в Омске, жил в Рязани. Окончил Санкт-Петербургский горный институт, факультет освоения подземного пространства. Автор книги стихов «Узлы» (2011). Публиковался в журналах «Транслит», «Новое литературное обозрение», «Воздух», на сетевых ресурсах «TextOnly» и «Полутона». Участник фестивалей «Поэтроника» в Москве и Седьмого майского фестиваля новых поэтов. Лауреат Премии Аркадия Драгомощенко (2014). Живет в Санкт-Петербурге. В стихах Никиты Сафонова бросается в глаза их безорудийность — отсутствие не только силлаботонических доспехов, регулярного размера и рифмы, но и «поэтизмов», той суггестивной оснастки, что традиционно отличает поэтический строй от прозаического. Отказываясь от инерции привычных смыслов и типов высказывания, он словно бы разрушает речь в попытке прикоснуться к ее довербальному, асинтаксическому чувствилищу — «белому шуму» слов и вещей.



Издательство
«Новое литературное обозрение»

Серия «Новая поэзия»

2015

Виктор Иванів
ДОМ ГРУЗЧИКА



Виктор Иванів родился в 1977 году в Новосибирске, окончил Новосибирский университет, кандидат филологических наук (диссертация «Философский концепт и иконический знак в поэтике русского авангарда»). Работает в научной библиотеке. Дебютировал в 1997 году на страницах нью-йоркского альманаха «Черновик», в дальнейшем публиковал стихи и прозу в альманахах «Вавилон» и «Стетоскоп», журналах «Воздух», «Союз Писателей», «Русская проза», антологиях «Время Ч» и «Нестоличная литература». Выпустил книги стихов «Стеклянный человек и зелёная пластинка» (2006) и «Трупак и врач Зарин» (2014), книги прозы «Город Виноград» (2003), «Восстание грёз» (2009), «Дневник наблюдений» (2011), «Чумной Покемарь» (2012), «Повесть о Полечке» (2014). Дважды входил в шорт-лист премии «Дебют» (2002, 2012), в 2003 году удостоен Международной отметины имени Даvida Бурлюка, в 2012 году стал лауреатом Премии Андрея Белого как прозаик.

**Книги и журналы
«Нового литературного обозрения»**

можно приобрести в интернет-магазине издательства www.nlobooks.mags.ru
и в следующих книжных магазинах:

в МОСКВЕ:

- «Библио-Глобус» — ул. Мясницкая, 6, (495) 924-46-80
- Галерея книги «Нина» — ул. Бахрушина, 28, (495) 959-20-94
- «Гараж» — ул. Образцова, 19-А (магазин в центре современной культуры «Гараж»), (495) 645-05-21
- «Гилея» — Тверской бульвар, 9 (помещение Московского музея современного искусства), (495) 925-81-66
- Книготорговая компания «Берроунз» — (495) 971-47-92
- «Книги в Билингве» — Кривоколенный пер., 10, стр. 5, (495) 623-66-83
- «Культ-парк» — Крымский вал, 10 (магазин в ЦДХ)
- «Молодая гвардия» — ул. Большая Полянка, 28, (499) 238-50-01, (495) 780-33-70
- «Москва» — ул. Тверская, 8, (495) 629-64-83, (495) 797-87-17
- «Московский Дом Книги» — ул. Новый Арбат, 8, (495) 789-35-91
- «Мир Кино» — ул. Маросейка, 8, (495) 628-51-45
- «Новое Искусство» — Цветной бульвар, 3, (495) 625-44-85
- «Старый свет» — Тверской бульвар, 25 (книжная лавка при Литинституте, вход с М. Бронной), (495) 202-86-08
- «У Кентавра» — ул. Чайнова, д.15 (магазин в РГГУ), (495) 250-65-46
- «Фаланстер» — Малый Гнезниковский пер., 12/27, (495) 629-88-21
- «Фаланстер» (На Винзаводе) — 4-й Сыромятнический пр., 1, стр. 6 (территория ЦСИ Винзавод), (495) 926-30-42
- «Циолковский» — Новая пл., 3/4, подъезд 7Д (в здании Политехнического Музея), (495) 628-64-42, (495) 628-62-48
- «Dodo Magic Bookroom» — Рождественский бульвар, 10/7, (495) 628-67-38
- «Jabberwocky Magic Bookroom» — ул. Покровка, 47/24 (в здании Центрального дома предпринимателя), (495) 917-59-44
- Книжные лавки издательства «РОССПЭН»:
 - Киоск № 1 в здании Института истории РАН — ул. Дм. Ульянова, 19, (499) 126-94-18
 - «Книжная лавка историка» в РГАСПИ — Б. Дмитровка, 15, (495) 694-50-07
 - «Книжная лавка обществоведа» в ИНИОН РАН — Нахимовский пр., 51/21, (499) 120-30-81
- Киоск в кафе «АртАкадемия» — Берсеневская набережная, 6, стр. 1

- Книжный магазин в кафе «МАРТ» — ул. Петровка, 25 (здание Московского музея современного искусства)

в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:

- На складе нашего издательства — Лиговский пр., 27/7, (812) 579-50-04, (952) 278-70-54
- «Академическая литература» — Менделеевская линия, 5 (в здании Истфака СПбГУ), (812) 328-96-91
- «Академкнига» — Литейный пр., 57, (812) 230-13-28
- «Все свободны» — наб. р. Мойки, 28 (второй двор, код 489), (911) 977-40-47
- Галерея «Новый музей современного искусства» — 6-я линия ВО, 29, (812) 323-50-90
- «Исткнига» — Кадетская линия ВО, 27/5, (812) 986-82-51
- Киоск в Библиотеке Академии наук — ВО, Биржевая линия, 1
- Киоск в фойе главного здания «Ленфильма» — Каменноостровский, 10
- «Классное чтение» — 6-я линия ВО, 15, (812) 328-62-13
- «Книжная лавка» — в фойе Академии Художеств, Университетская наб., 17
- «Книжный Окоп» — Тучков пер., д.11/5 (вход в арке), (812) 323-85-84
- «Книжный салон» — Университетская наб., 11 (в фойе филологического факультета СПбГУ), (812) 328-95-11
- «Книжная лавка писателей» — Невский, 66, (812) 314-47-59
- Книжный магазин-клуб «Квилт» — Каменноостровский пр., 13, (812) 232-33-07
- «Мы» — Невский, 20 (на третьем этаже проекта Biblioteka), (981) 168-68-85
- «Подписные издания» — Литейный пр., 57, (812) 273-50-53
- «Порядок слов» — Наб. реки Фонтанки, 15 (812) 310-50-36
- «Проектор» — Лиговский пр., 74 (Лофт-проект «Этажи», 4 этаж), (911) 935-27-31
- «Росфото» (книжный магазин при выставочном зале) — ул. Большая Морская, 35, (812) 314-12-14
- «Санкт-Петербургский Дом Книги» (Дом Зингера) — Невский пр., 28, (812) 448-23-57
- «Свои книги» — 1 линия ВО, 42, (812) 966-16-91
- «Университетская лавка» — 7 линия ВО, 38 (во дворе), (812) 325-15-43
- «Фонотека» — ул. Марата, 28, (812) 712-30-13

в ЕКАТЕРИНБУРГЕ:

- «Дом книги» — ул. Антона Валека, 12, (343) 253-50-10

в КРАСНОДАРЕ:

- Специализированный магазин “Книжный Кабинет” — ул. Пашковская, 52 (2-ой этаж), (861) 255-34-94, 8-918-191-27-53

в КРАСНОЯРСКЕ:

- «Русское слово» — ул. Ленина, 28, (3912) 27-13-60

в НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ:

- «Дирижабль» — ул. Б. Покровская, 46, (8312) 31-64-71

в НОВОСИБИРСКЕ:

- Литературный магазин «КапиталЪ» — ул. Горького, 78, (383) 223-69-73
- Магазин «BOOK-LOOK» — Красный пр., 29/1, 2 этаж, (383) 362-18-24;
— Ильича, 6 (у фонтана), (383) 217-44-30

в ПЕРМИ:

- «Пиотровский» — ул. Луначарского, 51а, (342) 243-03-51

в РОСТОВЕ-НА-ДОНУ:

- «Деловая Литература» — ул.Серафимовича, 53Б, (863) 2-404-889, 282-63-63

в ЯРОСЛАВЛЕ:

- Книжная лавка гуманитарной литературы — ул.Свердлова, 9,
(4852) 72-57-96

в МИНСКЕ:

- ИП Людоговский Александр Сергеевич — ул. Козлова, 3
- ООО «МЕТ» — ул. Киселева, 20, 1 этаж, +375 (17) 284-36-21

в СТОКГОЛЬМЕ:

- Русский книжный магазин «INTERВОК» — Hantverkargatan, 32,
Stockholm, 08-651-1147

в ХЕЛЬСИНКИ:

- «Ruslania Books Oy» — Bulevardi, 7, 00120, Helsinki, Finland,
+358 9 272-70-70

в КИЕВЕ:

- ООО «АВР» — +38 (044) 273-64-07
- Книжный рынок «Петровка» — ул. Вербовая, 23, Павел Швед,
+38 (068) 358-00-84
- Книжный интернет-магазин «ArtLover» (www.artlover.com.ua):
+38 (067) 91-51-281, info@artlover.com.ua
- Книжный интернет-магазин «Лавка Бабуин» (<http://lavkababuin.com/>) —
ул. Верхний Вал, 40 (оф. 7, код #423), +38 (044) 537-22-43;
+38 (050) 444-84-02

- Интернет-магазин «Librabook» (<http://www.librabook.com.ua/>)
(044) 383-20-95; (093) 204-33-66; icq 570-251-870,
info@librabook.com.ua

В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ:

- www.nlobooks.mags.ru
 - www.ozon.ru
- www.artlover.com.ua
- bestbooks.shop.by
 - www.bolero.ru
 - www.cafemart.ru
 - www.esterum.com
- www.lavkababuin.com/shop
- www.librabook.com.ua
 - www.libroroom.ru
 - www.mkniga.com
 - www.ruslania.com
 - www.shopgarage.ru

ИЗДАТЕЛЬСТВО



Новое Литературное Обозрение

Интернет-магазин www.nlobooks.ru

Возможность купить книги НЛО по ценам издательства,
которые значительно ниже цен в книжных магазинах

Доставка в любой регион России

**Специальные сервисы
для покупателей интернет-магазина:**

Раздел «Раритеты»

Возможность оформить заказ на редкие книги
нашего издательства, тираж которых почти распродан.

Раздел «Print on demand»

Возможность купить книги «НЛО», которые уже давно
стали библиографической редкостью.

Мы специально издадим эти книги для Вас
по уникальной технологии «Print on Demand»,
которая позволяет напечатать любую книгу тиражом
всего в 1 экземпляр.

Раздел «Специальные предложения»

Возможность купить отдельные книги издательства
со значительными скидками

Томас Венцлова

Томас Венцлова (1937, Клайпеда) — поэт, переводчик, литературовед, публицист. В 1960 г. окончил факультет литовской филологии Вильнюсского университета. Работал в Институте истории, преподавал в Вильнюсском университете. С 1976 г. член Литовской Хельсинкской группы. В 1977 г. эмигрировал в США. С 1980 г. профессор на кафедре славянских литератур Йельского университета (Нью-Хейвен). Лауреат Национальной премии (2000).

Пережив сокрушительный опыт изгнания, Томас Венцлова уже при жизни стал гордостью литовской поэзии. Являя собой довольно непривычный для российского читателя продукт пересечения нескольких культурных традиций, Венцлова стал бесспорным фактом национальной культуры (что, в свою очередь, позволяет ему быть открытым навстречу живому и плодотворному в любой культурной традиции).

Виктор Кулле



Новое
Литературное
Обозрение

ISBN 978-5-444-80294-6



9 785444 802946